

*Пою, пою — дорогу дальнюю,
Непобедимую любовь навеки...*

(Из советской песни)

КАНИКУЛЫ ГРАНИ

Н а заспанных улочках еще не плясало солнышко. Тихие дорожки, кое-где с желтеющими в пыли абрикосами, лежали в тени, невпопад кукарекали петухи, на углу шумела колонка.

Граня и Злата пошли в первый класс вместе, они жили на одной улице в Авдеевке. Вдвоем добрались утром до школы, рядом стояли, ежась, на линейке, их рядом за одну парту и посадили. Правда, белый фартук Грани был из старой занавески, а у Златы весь переливался, атласный, да еще и вышитый гладью. Гране закрутили коричневые косы шнурочком и корзиной сплели, а у Златы и косы бело-пушистые, и во-о-т такие вот банты — с голову. В таком виде Злата всем слепила глаза, и даже педагог со стажем, первая их учительница, щурилась, очки поправляла, будто терялась. Что это за цаца такая сидит? Как с ней говорить? А ведь учительница понимала разницу между хорошей и хорошо одетой ученицей... У самой-то у нее была одна выходная юбка и один строченый пиджак с манишкой, потому и

удивлялась она на такую девочку. Чтобы самой лучшей стать, у нее было все.

Люди просто терялись, сталкиваясь со Златой, с ее белокурыми пенистыми косами, безмятежным лицом, изумленным взглядом дурочки. Терялась и Граня. Уставится Златка и смотрит. А чего думает? Сама и думай. А Граня была другая, это замечали сразу. Она даже маленькая была похожа на Золушку или на восточную принцессу из сказок братьев Grimm — смуглое лицо, влажные черные глаза, слабые завитки на висках, большой лоб, прямой нос и рот величиной в две ягоды, близко под носом, отчего нос казался длинноватым. Выражение лица серьезное, и потому она всегда казалась старше, чем есть. И еще гордая осанка, ходила девочка с прямой, даже вогнутой спинкою.

После школы подружки обычно шли медленно, волоча тяжелые портфели, рассчитанные на много лет вперед. Они обязательно заворачивали на базар, покупали у бабок стакашком изюм или курагу и лакомились. Потом заходили к Злате домой поесть каши с тыквою, а то и вареников. Отец Златы Юрек Ковальский работал фотографом, а мать Гута Тимофеевна шила по людям, поэтому одна комнатка у них всегда была в ярких обрезках материи, лоскутах, мотусках и нитках. Граня быстро съедала тыквенную кашу со сметаной — когда эта каша и так хороша, и без сметаны за милую душу... А еще они со Златкой мастерили на тряпочных куколок платья. Чтобы сделать саму куколку, надо было Гуту Тимофеевну попросить. Она умела не просто сделать туловище, ручки крестом. А еще и личико так устроит, что есть щеки, лоб, глазки вышитые, ротик. Полоска серой или желтой овчины — и готовы волосы. Куколки Гуты были особенные, короткие, и даже могли стоять! Она их клеила на резиновую подошву. Трудно объяснить, почему самодельные куколочки были лучше магазинных. Потому что живые, с выражением!

Лешек, Златкин брат, был старше нее года на четыре и дома бывал редко. Девочки всей школы за ним бегали из-за серых его глаз. Девочкам всегда нравятся хулиганы. А он гонял голубей со взрослыми голубятниками. Учил их. Торговал даже. На девочек не смотрел. Или виду не подавал, что ему это лестно.

Потом, после Ковальских уже, Граня бежала домой бегом, и коричневая корзинка кос билась о тонкую шею. Дома она скорее ворошила печь, подбрасывала уголь, а когда чугун разогревался, варила и мяла картошку-мелочь, высыпала корм визжалцу с голода поросенку. Мать Гранина, Таисия, тоже была швея, только шила одеяла в швейных мастерских, утром уходила в семь и приходила затемно. Отец, Богдан Машталапов, работал машинистом на станции, так что дом-то был на Граниных плечах. Пока поросенок визжал или уже хрюкал наевшийся, Граня лушила кукурузу. В кладовке стояли серые чувалы с початками, неподъемные. Надо было отсыпать початки в тазик, лущить в большую кастрюлю-алюминьку и потом ссыпать в другой чувал, белый. Лысый початок — бросать отдельно, в угол, на растопку. Спелые желтые початки хрустели, и зерно с треском падало в алюминьку. А если попал неспелый, так руки очень обдирали.

Свистели птицы. Со станции гукали паровозы. За забором ругались соседи.

«Иды снадять. — Шо снадять, кашу? А сала нэмаэ? — Немаэ. — Я тэбе вбью за тэ сало. — Нэма грошей на тэ сало. — А ну, иды сюды! Покажу, дэ сало браты». И дальше за забором начинались крики и даже обры-

вистый смех. «Сувертэко, Сувертэко, дывись, як чудно чоловика зовуть — Грицько...» Так звали соседа...

Граня хмыкала, включала радио в виде большой черной тарелки, чтобы не слушать соседей. И во двор гремели с окна простые советские песни. «Нас утро встречает прохладой, / Нас ветром встречает река. / Кудрявая, что ж ты не рада / Веселому пенью гудка?» И сама песня стремительная, как ветер! И еще такое — «Нам нет преград ни в море, ни на суше, / Нам не страшны ни льды, ни облака. / Пламя души своей, знамя страны своей / Мы пронесем через миры и века». Так здорово, что мороз по коже!

Хлоп! — калитка железной щеколдой! Входила важная Златка спisać уроки, а они еще самой Граней не были сделаны. Початки уже зашлись в угол, на деревянный уличный стол шлепались тетради с русским и математикой. Граня не понимала, почему Злата просит чужую тетрадь, неужели не хватает ума, но раз хочет — на. Дело простое — Златке было лень. Пока Граня решала задачи, Злата пыталась лущить кукурузу, но тут же бросала это скучное дело и шла крутить ручку от радио — то погромче, то потише. Потом списывала уроки и просила:

— Идем же, Граня, погуляем.

— Не могу я никуда. Мне еще двор мыть. Придут — не сделано ничего. И початки тоже.

— Ты успеешь, пока они придут. Идем в парк, на фонтан посмотрим.

— В парк нельзя. Попадет.

— Фу ты, какая...

В Златкином голосе звучали и сожаление, и насмешка. Можно ли быть забитой такой? Что там того парка? Часик — и назад. Пока чистишь кукурузу в сарае, вся жизнь пройдет.

И она уходила. А Граня смотрела ей вслед и оставалась при своих интересах.

Шла Златка гулять, чтобы встретить в парке «знакомых девчонок», с которыми как-то незаметно время пролетало чуть не до полночи... На самом деле, это были не только девчонки, которые вовсе и не любили гулять в компании Ковальской. Вокруг Златки роились парни, что тебе комары над патокой. Она сидела на лавочке у фонтана, за фонтаном сразу шла огороженная танцплощадка. О-о, это уже была взрослая жизнь в парке. У лавочки сразу компания — фэзэушники, блатные, приезжие, со школы тоже многие бывали, хотя бы тайком. И каждый норовил уйти ее провожать, на долю остальных девочки оставались так себе. Вот разве Лешек, братик старшей, соколенок отчаянный. Ему уже не раз досталось за то, что ходит с красивой девкой, следит да других шугает — побили так, что на всю щеку был сизый след. А почему? Потому что пошел провожать капризулю Златку, вот так вышло, что ни себе, ни людям...

Драчун Лешек, тайно он нравился Гране. Видя его синяк, она от нежности затихала и, зажмурясь, представляла узкую свою руку, легко отирающую его щеку травяным настоем.

«Ты полечи его, дурочка, — шептала она Злате, — отак подорожник приладь, абы лопух!»

Но Злата отмахивалась: «Мама поврачует».

И от людей ленивой Злате стыдно не было, будто она даже имела право на легкую жизнь. На уроках ее особо не теребили учителя, в тетрадках у нее стояли четыре и пять, а если к доске вызывали — там дело шло хуже. Там уже только одна улыбка изумленных глаз и ничего больше. Все

быстро поняли, что Ковальская сдувает домашние работы, и знали, у кого именно, но с чего было на Граню кричать? Граня учебник читала один раз и запоминала насмерть. Не было у нее такого баловства — на уроки все время тратить. Учителя ж видели, как она гнездится к подоконнику на перемене. «Ты чего? — Уроки пишу. — Делать тебе нечего». Но делать ей было что!

Потому что у нее были обязанности дома: вот это начать, вот это закончить... А уроки — уж когда получится. Сказать, чтоб сидела по ночам — тоже нельзя. Никто не позволил бы ей долго жечь керосиновую лампу. Она вцеплялась в тетрадки, когда время было. Старалась быстро все запомнить, где же столько воли, чтоб по два раза учить. А отвечала Граня твердо, на отлично.

И хотя в школе не больно строжили с чтением книжек, она пыталась даже урывками читать. Приходила к тете в библиотеку школьную и долго ходила меж шкафами. Ей давали сказки, но сказки она не любила, притворством считала... А вот как прочитала Гоголя про черевички — то-то было счастья! Потому что там все происходило не как в сказках, а было перемешано, прямо как в жизни.

Но главную книгу своей жизни она прочтет попозже, это книга — «Овод». Первое — ее поразила любовная история. Класе в шестом она горела обидой за Овода. Человек такой одаренности, огромной силы воли, идейной устремленности: хотел отдать жизнь за Италию. Ничего лично-го. Значит, или — или. Эта книга и слепила характер девочки Грани.

Утром, под резкое чириканье птах, пока потягивалась в постели сонная Злата, Граня, уже запарив чугунок, кормила поросенка. Потом бежала за водокачку, рвать траву для кроликов.

Траву повдоль дворов в Авдеевке не разрешали трогать, только в поле за поселком. Ребятня шла с тележками или мешками, кто с чем, и пряталась в середину поля между колосьев. А там объездчик на лошади и с кнутом — если что, мог стегануть как следует. С визгом убегали. Все ноги так изобьешь. Да сто раз перепугаешься, неохота под кнут объездчика попадать! А отец — «три мешка до вечера можно вполне нарвать». Нарвать-то можно, а найти-то ее как? Отож вытянет вдоль спины — не счешь травы никакой...

В этот раз Граня побежала одна, без компании, и весело надеялась на удачу. И то надежда, что пока объездчик дрыхнет поутру, можно мешок добыть. Граня в сатиновых шароварах, в клетчатой рубашке мальчуковой, с корзинкой кос под косыночкой, приседая, пошла по краю поля. Шаровары намокли от росы, но зато в траве легче было спрятаться, если объездчик. Вон он! Как рано выехал, оглоед! Она бросила мешок и, пригнувшись, в кустарник юркнула, сердечко тук-тук. Никому неохота кнутом по спине получить. Кажется, повернул, не заметил. Отец грозил: «Натаскай, а то получишь». А что там той Грани? Мешок же с нее ростом. А с двух сторон кнутами грозят...

Сосед Машталаповых Корягин пришел к отцу рядиться за летнюю кухню. Темным вечером кирпичи дымилась, их Граня мыла веником и горячей водою. Когда замолчал сонный сытый поросенок, только сверчали сверчки по огороду, отец Богдан сидел под шелковицей и дымил цигаркою. И сосед Корягин пришел, снял с керосиновой лампы стекло, прикурил и тоже дымил цигаркою. Он был хороший строитель, умелец по домам на весь околоток один. Граня торопилась написать уроки в тетрадь.

Густели потемки, она убежала в дом, зажгла и там керосинку. Стоя за столом, быстро написала задачи, а над русским подзадумалась. Что главное в жизни? Учеба? Да, а потом? Красота? Это надо! Любовь, наверно (при мысли о Златкином братишке уши ее загорелись, что твои помидоры). Работа? Но такая — чтоб была важнее любви. А то ничего не добьешься... А добиться надо. Иначе — всю жизнь батрачь на кукурузе...

Во дворе раздался голосной многоступенчатый смех, то частый, то редкий. Она выглянула — за Корягиным пришла его статная дочка, в черно-горошистом городском сарафане и с крутою антрацитовая завивкой. Богдан и Корягин о чем-то шутили с ней. А ведь она была важная птица, работала там, где взлетают самолеты.

— Иди до дому, батько, вже борщ готовий... Вечер добрый, Граня.

— Вечер добрый, тетя Наташа.

— Ты хорошо учишься, девочка?

— На пять.

— Молодец. Самолеты любишь?

— Самолеты? — у Грани занялось дыхание. — Откуда ж в Авдеевке самолеты?

— Приходи ко мне, дам книжечку.

— Шо? — грозно забасил Богдан. — Та не трожь ты дивчину!

— Та я ничего, дядько Богдан, — тетя Наташа прикрыла рот и быстро ушла.

Наташа была единственной дочкой Корягиных. Красивая, крупная, с большой грудью, немного коренастая, ну прямо мать большого семейства или, может, директор магазина. Но она была одинокая, незамужняя, сильная. Окончила летную школу, даже успела стаж налетать, а потом неудачная посадка, поломанные ноги. Летать больше не разрешили, а она не смогла самолеты забыть, вот и осталась работать в администрации летного училища. А может, у нее там и любовь была? А то вернулась бы в Авдеевку. У матери Грани, Таисьи, было опасение, если видела незамужнюю. Да главное, и Богдан не хотел такого влияния на свою дочку.

Книжка была маленькая и тряпично-мягкая от сильного листания: «Летающие лодки Четверикова». Тетя Наташа сказала, что таких книг в библиотеках нет, это для летного училища пособие. Граня читала ее как приключения с мушкетерами, хотя никаких приключений там не было. А еще были рисуночки, которые Граня старательно перерисовала себе в тетрадку. Самолеты-амфибии, которые держались на воде, или гидросамолеты — они ей Жюль Верна напомнили, даже названия она тут же затвердила — МУ-2, М-11, МДР-3, МР-5, РОМ-2, СПЛ, ОСГА 101, даже во сне она шептала их... И то хорошо, что пока она дышала своею тайной, родичи внимания не обращали, а то попало бы. Она ж дивчина, не парубок!

Как же стучало ее горячее сердце, как щипало глаза от вдохновенных слез Грани, которая в восьмом классе уже оказалась готова к той книжке. Это вам не кукурузу лущить. Великие дела страны покоряли и звали за собой. «Идея установить самолет на подводную лодку возникла в связи со стремлением повысить ее боевую эффективность за счет расширения поля обзора при поиске противника. Самолет мог увеличить «дальность» подлодки в десять с лишним раз. Где и как размещать самолет на подводном корабле? Нужен был самолет со складными крыльями...»

— На тех самолетах начала летать и Поля Осипенко. Это ж не женщина — орлица! А ведь наша родная, землячка моя, мы обе с Новоспасовки, — рассказывала тетя Наташа, опершись на забор. — Мы учились в одном училище, в которое и приняли не сразу. Сначала был ей отказ, потом пошла в столовую при летной части, возила на полигоны кашу, и там ей потихоньку давали летчики порулить. Вдруг приезжает в часть Ворошилов! После парада она к нему: «Возьмите в училище! Летать — умею!» Так и взяли. Сейчас она уже в Киеве, да в Кремль ездила. Недавно мировой рекорд побила, выше итальянской летчицы взлетела!

— Неужели?

— Итальянка на шесть, а Поля наша на все девять! Тысяч метров, поняла?

— Тетя Наташа, а как... меня? Могут разве меня принять в училище, если уж героя страны и то не сразу приняли?

— Конечно, могут. Готовься сильней.

Так мечта и родилась. Наташа Корягина была летчица и первая сказала Гране про летное училище, и еще — что нужна туда особая подготовка. Граня настолько впитала эти слова, что стала готовиться! И морально, и физически. Карточку Полины Осипенко в военной пилотке наклеила на картонку и вложила в учебник.

Все это случилось в майские, перед каникулами. В общем, отравка свободы и воли попала все-таки в кровь девочки Грани. Так что родители опасались не зря.

Златка стала по весне много пропускать, но за уроками все же иногда приходила. Она стояла и смотрела, как Граня вроде обезьяны взбирается на самый чердак по громадной железной лестнице. То вверх, то вниз... Волосы скручены узлом на затылке, сама в черных шароварах и тапках. А у Златы белые локоны красиво заплетены, не до конца, и пряди подвиты колечками. Платье синее, жоржетовое, аж просвечивает. Стоит, взор к небу. В руках глиняный жбанчик, завязанный белой тряпочкой.

— Граня, ты что, больная?

— Да нет, отчего ж больная, — тяжело дыша, отозвалась мокрая Граня. — Физподготовка у меня, на быстроту. Ты за уроками?

— Ну да, зачем же еще? Не в куклы же нам с тобой играть. Вот вам от мамы Гуты варенички с картошкой. Она много сделала, всем хватит.

Глаза Златочки смотрели на Граню все также умыто и также бездонно сияли.

— А как экзамены? Как спишешь там? — тревожно спросила Граня.

— То не твоя забота.

Она стала писать в тетради, поднимая бровь, косясь на Гранину подготовку.

— А чего ваш Лешек? Все гоняет голубей?

— Нет, Граня. Он уже поступил на машиниста. И он стал щирый писарь — все пишет, пишет, даже и ночью.

— Влюбился ваш Лешек.

— Да его не поймешь. То любит, то тоскует...

— А ты, Златка? У тебя есть кто?

Златка порозовела лицом, шейкой и грудью. И погрозила Гране пальцем.

А в понедельник на русском (как раз повторяли к экзамену тему)

вошла в класс комиссия. Три человека, все незнакомые, одна женщина в форме и с ними директор. Женщина в форме быстро отчеканила, как много сейчас значит для страны трудовые резервы. Все и так все знали, но молчали. Дисциплина была в школе железная. Дальше повел речь директор.

— По итогам года выявлены учащиеся, которые не проявили должного рвения в учебе, посещаемости и поведении. Неоднократные предупреждения родителей ни к чему не привели. Сейчас я зачитаю список учеников вашего класса, которые не будут допущены к экзаменам.

В паузах дергалась бровь директора, руки со списком дрожали.

— Учащиеся, чьи фамилии я зачитаю, будут немедленно отчислены из школы и направлены на обучение в ФЗО. Учебные заведения закрытого типа работают на полном гособеспечении. Домой отчисленные не поедут — портфели берут с собой и... Ковальская Злата Юрьевна...

Их вывели, построили и увезли на автобусе. Вечером к Машталаповым примчались Гута и Юрек. Они ждали до четырех, но дочь не явилась с первой смены. Гута уже рыдала в голос. Трясущимися губами Граня рассказала им, как все было. Потом подала Гуте жбанчик, в котором та посылала вареники. Не говорили, просто женщины плакали и все. Таисья обняла Гуту Ковальску, и так стояли они под шелковицей, качаясь в плаче. Хотя им Граня вынесла табуретки. А Богдан смолил сигарки из газеты да молчал. До того случая он был уверен, что государство всегда правое, а тут дитя отняли у отца-матери.

Богдан в тот год даже не снимал Граню со школьных занятий на огород, как это обычно бывало. Весь огород сажил с женой Таисьей и помощником своим с паровоза. Огородов было три: овощи — цибуля-фасоля, гарбузы (тыквы), кукуруза. Кукуруза на еду, стебли на корм, пустые початки в топку. Все это надо было еще полоть...

Когда экзамены кончились, Богдан дал девочке отоспаться три дня. Потом запалил сигарку и сказал:

— Я получаю семьсот пятьдесят грамм хлеба, на иждивенца, на Граньку — еще сто пятьдесят. Мать работает в швейной мастерской, ей дают на карточку пятьсот. Если летом Граня пойдет чернорабочей путей, она работать будет не до шести, как все, а до двух, но карточку получит взрослою! И денег, и целый кусок мыла. Понятно говорю?

Таисья всплеснула руками, охнула:

— Це ж дытына! Шо вона зробэ!

— Не обсуждается, — Богдан положил кулак на стол, не стукнув, но кулак сжал крепко.

Граня знала, что в их околотке на путях уже работали парубки. Девушек еще никто не гонял. Вон Колечкины — вроде учительская семья, бедная, а дети ни лета не работали.

Пришли на станцию девятнадцать человек школьников. Почти все мальчишки, три дивчины, Граня самая худая изо всех. Вся группа пошла от станции километра за два на товарную ветку. Дали каждому кирку: разбивать спекшийся мазут на камнях между шпалами. Как бить? Позже пришел путевой обходчик с потрескавшимся красным лицом и сказал:

— План, ребята, — пять квадратов. Бачьтэ, шо между шпалами и рельсами получився квадрат? Вам надо його разобрать, то есть разбиты, камни скласты в ящик, а всэ, что отвалылось, — сыпать за рельсы. Между рельсами надо, шоб пустое оставалось. На шо крошить пласт? Да шоб

воздух проходы, шпалы лучше лежат, не гниют. Чисты камни тэж обратно сыпать. Дитям пять квадратов, усим другим — десять. Канистру воды прыйшло. Всэ.

Размахнулась Граня киркой на камень, чтоб ударить посильнее, а кирка оказалась такая тяжелая, что сама дернула ее за собой. Граня чуть не упала навзничь: тянет, можно за один взмах назад опрокинуться, голову рассечь. В локтях и плечах быстро заняло.

— Тихо, — остановил ее чужой парубок. — Повывихиваешь плечи. Первый раз?

— Ага.

— Вот тебе и ага. Смотри! — и медленно взмахнул киркою...

Это уж потом Граня сообразила, что взмах надо делать не вверх, а немножко в сторону, чтобы так руки не вырывало, а тогда что она могла понять? Все бьют, и она бьет. В каком-то бессознательном состоянии все.

Жара усиливалась к обеду, даже птицы в посадках переставали по-свистывать. Звуки природы затихали, оставалось только звяканье железа по камню да щебню. Двое человек выбыли в тот же день. Одна девочка от жары сомлела, а парню вообще не повезло — неверный удар кирки пришелся прямо по ноге.

Она была по камням, чтоб раскрошить спекшийся от мазута и грязи пласт, потом, что отвалилось — за рельсы. Слой такой толстый. Очищенные камни надо было засыпать обратно. На это были выданы грабарки и большие рукавицы, которые не держались на руках. Ящик она тоже поднять одна не могла, ждала чужого парубка.

У канистры на цепке моталась большая кружка, но она старалась меньше пить, боялась — ослабнет, свалится. Делала несколько больших глотков, потом проводила по лицу и снова затягивала косынку. Ну, это невозможно ж сказать, что это была за работа. Непонятно, как дотянуть до двух-то часов дня, а там еще трава, огород. Что там той Грани? Одна худоба, силы никакой. Обходчик угрюмо отпускал их, тыча пальцем в часы.

Падала без сознания уже дома, ничего не видела. Она могла бы спать с трех и до утра, но вставала по хозяйству. И снова падала, часто одетая. В голове плыли летающие лодки Четверикова, похожие на сказочных жуков. Она видела себя в кабине. Самолет взлетал прямо с рельсов, унося ее ото всего этого ада. Надо это пережить, чтобы летать. Стать знаменитой, как Полина Осипенко и однажды пройти мимо дома Ковальских, как бы на колонку...

А утром в треснутом зеркале она видела сощуренные черные глаза и пятнисто-загорелое лицо — летела пыль, кожа загорала неровно. А что ж там той Грани? Одна худоба, силы никакой. Красота в ней была, да — опасная, змеиная, если взглядеться. Но пока незаметная, неочевидная для всех. Заморыш да заморыш. Это уж потом она раскроется, ее южная прелесть, опаленная, потом заблестит гордо, но не теперь, когда школьница бегаёт в лияялой кофте да мазутной косынке...

На тонких руках Граниных быстро выступили вены, — да ладно, успокаивала она себя. Не до красы, выжить бы только. Кормила она поросята, индюков, да и шла на станцию.

А там уже из хриплого репродуктора — песня. И Граня подпевала, ежась от росистого утра: «Мы с железным конем все поля обойдем, / Соберем, и посеём, и вспашем. / Наша поступь тверда, и врагу никогда / Не гулять по республикам нашим!»

Скоро-скоро убедитесь Граня, что все не так просто — и поля не успеют обойти, и враг по тем полям пройдет, но тем утром она так была тверда, так уверена. Потому что это ей помогало.

Зато когда выдали Гране карточку и на нее хлеб, она так наелась! Она жадно ела хлеб по дороге. Глинистый мякиш приставал к зубам, слюна чуть не бежала с губ. Пружинистый ноздреватый кусок быстро таял на языке. Какое острое, ни с чем несравнимое удовольствие! Все на дивчину смотрели, но стыдиться было нечего. Она могла открыто есть сама этот хлеб, потому что сама заработала его.

Да еще чернорабочим раз в день раздавали горячий суп и кусочек мяса. Суп наливали в большую алюминиевую кружку, наподобие той, что висела на цепке у бака с водой. Суп хотелось есть долго и помалу, но большинство выпивали его тут же, або дома не было и того.

Так и прошло первое Гранино взрослое лето. В битве за первую взрослую карточку.

МАРШ ИТАЛЬЯНО

То лето казалось удачливым для Машталаповых. Кукуруза на третьем огороде вымахала за два метра, оцетинилась молочными початками, что твоими поленьями. Богдан надеялся, что они заколют к осени поросенка, засолят много сала в подвальном рундуке. Да и будущему поросенку будет что скормить, если учесть кукурузный силос. Красная фасоль надудла длинные свои стручки. Шелковица как стала осыпаться, так вот Граню погнажи обирать. И она ела ее горстями, аккуратно подбирая с ладони. А шелковица качалась на ветрах и Граню качала — ну, совсем как гидросамолет, который видела на испытательном полигоне тетя Наташа Корягина. И задумавшись с повисшим на мотузке бидончиком, обхватив дерево ногами в сатиновых шароварах, Граня прислоняла лоб к стволу. Самолет может подняться с поверхности реки или озера и лететь с огромной скоростью до трех километров в высоту, легко садиться брюхом на заснеженное поле и грунтовую дорогу. Это же что выходит? Что хочет, то и делает, по грунту пробегает метров пятьдесят, а по воде и того больше. Говорят, и шасси никаких не надо, все дно его как в той лодке. И душою взлетала Граня, представляя, как она полетит на том самолете...

Почтальонка принесла толстое письмо от тети Наташи Корягиной. Там она спрашивала, почему нет вестей от папы, и не случилось ли с ним что? А с ним случилась такая вещь, о которой никто и не решился бы писать — Корягина посадили по доносу.

Еще была вложена газета «Взлет» города Качинска. «РЕЙС «РОДИНЫ» — ПОДВИГ». 24 сентября 1938 года двухмоторный ДБ-2 «Родина», взлетев с подмосковного аэродрома, взял курс на Дальний Восток. Пробираясь сквозь облака, самолет долго шел в слепом полете — штурману Расковой приходилось прокладывать путь по приборам. Вскоре проявился еще один коварный враг — обледенение. Чтобы сбить лед с лопастей пропеллера, летчики до предела увеличили обороты винта. Донимала болтанка. После Урала связь с землей прервалась. Из-за отсутствия связи летчики прошли мимо Комсомольска-на-Амуре. Когда показалось Охотское море, тревожно вспыхнула лампочка, сигнализируя, что бензина осталось на полчаса. Командир корабля Гризодубова решила садиться в тайге с убранными шасси. Она приказала Расковой прыгать с парашютом, потому что подобная посадка опасна в первую очередь для сидящего впереди

птурмана. Самолет посадили на болото в верховьях таежной реки Амгуни. Точного места приземления «Родины» никто не знал. Начались поиски. От Байкала до Охотского моря над тайгой, горными хребтами, непроходимыми болотами летали самолеты. Охотники, жители далеких поселков ушли в таежную глушь. 3 октября экипаж был обнаружен с воздуха. Из села Керби вышел катер «Дальневосточный», который, дойдя до верховьев бурной Амгуни, подобрал в тайге героических женщин. За 26 часов 29 минут беспересадочного полета «Родина» преодолела расстояние в 6450 км. Мировой рекорд дальности полета для женщин оказался перекрыт более чем на полторы тысячи километров. На каждой станции, в каждом городе от Керби до Москвы летчиц встречали восторженные толпы людей. За свой подвиг Гризодубова, Осипенко и Раскова получили звания (первыми из женщин) Героев Советского Союза».

Как же плакала Граня, как плакала она от истории, опалившей юное ее сердце. Да неужели она, Граня, жизнь потратит на хозяйство и рабскую повинность по дому? Неужели она, твердый духом и телом человек, не попадет в другой мир, где только подвиг — смысл жизни? Да будь неладно это хозяйство, когда наши женщины не просто не погибли, а всему миру доказали, на что человек способен, если служит Делу? Да невозможно так сидеть и лущить фасолу, когда такое происходит!

К Гране подружка приходила, Златка Ковальская. Запечатанная в тугую форменную тужурку с блестяшками на пуговках и воротничке, она казалась молоденькой милиционершей. Остриженные под бокс, ее пышные белые волосы выбивались из-под черного берета, губки кричали густою красной помадой.

— А что ФЗУ, глянь, как страшно. Мы на гособеспечении, да иногда домою отпускают.

— А что мама твоя, не плачет больше?

— Нет, она даже рада. Даже тоскует, что Лешек не со мной, а болтается. Неделями голодный, да компании всякие, да гроши с дома тянет.

— А если что?

— Если что — так на ящик отправят. Да и там рóбят люди. Пойдем в парк сходим?

— Нет, мне нельзя, не пустят. Ты иди, Злата.

Граня оставалась маленькой, а Златка как-то сразу взрослою стала, живя не дома. Граня кувалдою на путях махала, а Злата стояла у станка да чертежи училась разбирать. Граня косила глазом в сторону Лешка Ковальского, который по вечерам щеголял в парке в настоящем сером двубортном костюме. Штаны были страшно широки — как две юбки! Мальчишка, а уж шляпу напялил...

Сдерживала биение сердца, когда мимо дома их шла, а Злата уже всю крутила любовь со студентами, инженерами из депо. Уже ж четырнадцать Гране, а Златке пятнадцать. Граня только ждала, что ей жизнь сделает поблажку, а Злата давно жила на полную катушку. Перехватываемая молчаливые взгляды дочери, добрая Таисья утешала ее:

— Ничого, ничого, зайчик. Всэ будэ...

А когда ж оно будет-то? Граня стояла за керосином, задумчиво крутя косу. Синее штапельное платье в черный горох билось от ветра. Репродуктор в тот день играл одну музыку, это нравилось Гране. Несмотря на летнюю жару, очередь стояла тихо, никто не толкался, не спорил, что нарстет лучше — дыбуля или кукуруза. Пожилые женщины-хозяйки,

дети да старые железнодорожники стояли близко, как родичи, и все при-тихшие. Как вдруг диктор заговорил в репродукторе, а потом и керосин-ница отпустить перестала и все побросали бидоны: «Молотов, Молотов». Потом опять марш и стихи, они падали на головы людей, что твои камни. «Наши пушки вновь заговорили! / Враг напал. Мы выступили в бой! / Вымпела прославленных флотилий, / Словно чайки, вьются над водой. / Бить врага нам нынче не впервые. / Чтоб кровавый след его простыл, / Вам, полки и роты фронтовые, / Помогает действующий тыл!» Многие побежали с торговой площади, а Граня все-таки налила свой бидон, протянула деньги, но залитая слезами керосинщица махнула рукой и захлопнула окошко, приговаривая:

— Ой, горе, ой, горе...

На Донецк и Ясиноватую уже бомбы падали. До Авдеевки пока не дошло, но бухало рядом совсем. И ровно туча свинцовая накрыла Авдеевку. Таисья с опухшим от слез лицом чего-то шила и складывала в полосатый мешок. Богдан на работе был круглые сутки, иногда только появлялся дома с красными от недосыпу глазами хватить кус глинистого хлеба с салом, вареной картошки. Лицо его было без выражения, но Таисья понимала — уйдет на фронт. И, несмотря на жесткий его характер, дрожала вся от макитры до пят — молодая пошла за него, восемнадца-ти не было, терпела окриков досыта, а только теперь она будет вовсе сиротою. В школу свозили раненых, делали лазарет, здание было хорошее, кирпичное. При школе записывали добровольцев. Оборонительный отряд сколачивали и при станции, но было поздно, поздно... Друг другу шепотом передавали — отступаем... На конец сентября Красная Армия оставила Одессу, а в середине октября бои велись вблизи Харькова и Донбасса.

Да, все видели, что терпела поражение не просто армия, но и вся страна. А ведь она казалась такой непобедимой совсем недавно. Гитлеровцы считали территорию Восточной Европы, в том числе Украину, жизненно важным пространством для немецкого народа, и захватывали город за городом. Это подавляло.

Ушел на фронт весь южный околоток. Даже сосед Машталаповых, Грицко, который рядился за сало. «Сувертэко, Сувертэко, дывись як чуд-но чоловіка звать — Грицко...» Даже Ковальские ушли — оба, отец и сын. Тетя Гута, оставшись одна, пошла работать в швейные мастерские. Даже учитель Колечкин, совсем больной, и тот попросился на фронт, его будто отправили в газетчики. Но Богдана в армию тогда не забрали, дали ему бронь. То ли потому что железная дорогая была нужна в первую оче-редь нашим, то ли он работник кристально честный, то ли почему еще. Мастерские, где горбатилась Таисья, перешли на шитье белья и формы для солдат. Теперь дома никогда не было ни отца, ни матери — приходи-ли и уходили они ночью. Многие тогда ночью работали, окна наглухо за-крывали, ни щелки света не проходило...

Когда пришла Граня в бывшую школу, ее отвели в постирочную: там стояли баки с замоченными бинтами и постельным, которое меняли на перевязках. Вонь ужасная. Воду таскать из колонки. Простирав первую грязь, пропускать второй раз. Потом кипятить, полоскать. По лицу пот, по спине. Граня думала, сцепив зубы: «Ничего, ничего. Это тоже для по-беды надо».

Народу не хватало. Когда по школьному саду развешивалась полуот-

стиранная партия — кровь плохо отходила, оставляя бурные разводы — можно было отдохнуть в палатах, разности, что надо, попить, кому можно... Сил даже на улыбку не оставалось.

Круглые сутки дом был заброшен, окна закрыты. Еда кончалась. Два раза стояли в очереди за солью. На рассвете, когда по траве шла изморозь, Граня с матерью бежали в поле, наскоро и тайком ломали кукурузу на своем же огороде, и вздыхали обратно. Кукуруза была уже изрядно общипанная — с Ясиноватой, Горловки и Донецка тянулись голодные с узлами, чтоб менять дорогие вещи на продукты. Но кому были нужны теперь те шелка и меха. Порося пришлось зарезать и срочно засолить. В погребке откопали еще хран и сложили туда солонину, закатанную в полотно.

Вспоминалась Златка, которая и поесть, и одеться любила, да только и она теперь оказалась в закрытом военном заводе — от нее раз в месяц приходили Гуте скучные почтовые карточки с печатями, что жива, да все хорошо. Какое хорошо. И плакала Гута взхлеб. Все ж не на войне как Лешек. От него вестей не было.

Похоронку получила Колечкина. И между детьми Колечкиными и всеми другими сразу стала такая пропасть. Что вы там пережили, если у нас — такое...

Госпиталь срочно эвакуировали из школы, а вскоре пришли немцы. Как-то быстро все произошло, все надеялись — нет, не придет та зараза до поселка, но судьба зло зарычала военными машинами и мотоциклами, залепила очи, заткнула рты. Граня в зашитой на плечах и наставленной кацавейке попятилась с флягой воды на колесах и ее таки прибило к забору. Улочка стала пустой, народ вогнул головы в плечи, рассосался по дворам. А она не могла. Она смотрела как заколдованная на военную колонну, оцетиненную автоматами, слушала низкий рев машин в туче пыли и ее подташнивало. Все стало серое, как та пыль! Еще деревья до конца не облетели, горели то красным, то желтым, по-летнему звякали ведра на басейке. Вот так делово и по-будничному они пришли. Колонна ехала к бывшей школе. Молва уж разносила слухи, как ловят евреев и гонят в лагеря. Упорней всего говорили о больших расстрелах по Украине. Но так, сдавленным шепотом — за такие разговоры тоже сулили расстрел.

Но в первый день выстрелов не было. Только по дворам ходила проверка из местных полицаяв, да с ними один-два фашиста. И фашисты странные, такие чернявые и улыбчивые. Итальянцы! Раскидали кругом листовки. Индюков похватали почти всех, но те были облезлые от недокорма и худые. Потом пришел на постой фашист в форме с двумя солдатами и полицаем. Таисью вытолкали из хаты раздетую, без тужурки и показали на сарай — туда!

— Via di qui! Rapidamente! Быстрее!

— Мама! — проскрипела, охрипнув, Граня.

— Rapidamente! Urgente.

— Ничого, доню, ничого...

Ее втокнули и заперли. Полицай велел выметаться из дома, там теперь живет господин Орсо. Граня стала таскать, что под руку попало — постель, кастрюли, свалила на лавку во дворе, потом вспомнила про материну одежду. Полицай, поругавшись, все-таки матери дал одеться и помочь. Они хотели положить узлы в сарай, бежать по соседям.

— Mi avete frainteso. Неверно поняли меня, — бросил Орсо, и в сторону Грани. — Ragazza, ragazza... Девушка...

Им разрешили остаться в летней кухне, мать пыталась растопить заснувшую печку, но печка дымила, тоже задыхалась. Граня складывала хлам в сарай, носила мешки с пустыми початками — и там увидела, что есть недолущенные, вот же радость-то!

Господин Орсо Руперте был не просто фашист, а фашист убежденный. Картину цветную с Муссолини прилепил рядом с окном, в золотом ободке. И музыку красивую за патефоне сразу завел. И Граня чувствовала, что музыка была маршем, и все равно это было так красиво. Похоже на заграничное кино...

«Как это люди едут на войну, их там могут убить, но они везут с собой пластинки! — испуганно думала Граня. — Вот и у Ковальских есть пластинки, и у Колечкиных. Но кому ж придет в голову тащить их на фронт? Не на танцы ж едут...»

Росту был господин Орсо небольшого, широкий в плечах и кряжистый, и волосы сине-черные низким мыском у лба, коричневые маслянистые глаза и противно красные губы. Ходил медленно, тяжело, и форма хрустела, трещала на нем. Как повернул голову в сторону бегавшей туда-сюда Грани, так и присела та. Ужас, сразу прекратила бегать. Такой он был наряженный, как из сна страшного вышел. «Рагацца, рагацца». Пошел бы он... Но надо молчать, это враг, он за одно слово убьет. Не успели опомниться Таисья и Граня от нового жильца, как ночью случилась беда!

Батько Богдан, который был в дальнем рейсе, вернулся с него очень поздно.

Обычно он шел есть в летнюю кухню, потом спать. А тут, видно, до того намотался в пути, что сразу прошел в дом, ломанулся в двери... Что крик пошел из дома, то еще ничего, а то, что выстрелы сразу захлопали — было жутче. До того Граня никогда так близко не слышала выстрелов — будто хлопали по забору огромные кнуты.

Выскочили Таисья с Граней во двор, а там уж солдаты тащат под руки Богдана, и тот Орсо в подштанниках, голый по пояс, с пистолетом в руках. Господи ж боже! Убьют отца! Закричали смертно мать и дочь, кинулись к врагам. А те по-своему:

— Criminale! Criminale di guerra! Военный преступник!

Граня бросилась на шею отцу.

— Папа! У нас немцы...

— Via di qui! Прочь!

— Giurato, pelata, лысый, — Орсо показывал на лысину Богдана.

— Нет! Не солдат! — уцепилась за руку Орсо Таисья, но он живо отшвырнул ее.

Таисья упала, ударилась о кирпичный двор, застонала. Сильный, гад.

— Нет, — завизжала Граня. — Папа! Найн зольдат. Найн милитар. Арбайт! — Граня не знала итальянский, но вспомнила со школы немецкий!

— Classe operaia? Рабочий класс? — Орсо опустил пистолет.

— Арбайт, арбайт, — Граня с искаженным лицом гладила по груди Богдана, а тот, как обычно лысый, был совсем небритый, в щетине, да и как назло, вылитый тюремщик.

В несколько секунд тишины вдруг глупая ночная птица защebetала сонную песню. Это было так странно, ведь только что выстрелы шарах-

нули. Но маленькая птица была живая и жила себе в гнезде, как будто войны не было. Орсо махнул солдатам, они нехотя отпустили отца.

— Documenti, — прищипнул Орсо.

Богдан трясущимися руками развернул из пазухи удостоверение машиниста. А там на уголке паровоз. Все понятно.

— Но милитаре, — совсем успокоился Орсо. — Машиниста, — и хлопнул по плечу Богдана, которому был буквально по плечо.

И тогда они подняли плачущую Таисью, и Орсо, гад, туда же, не сами пихнул... А тот показал на Граню:

— E un bel pezzo di ragazza... Intelligente.

Граня поняла, что ее назвали интеллигентной. Она потом долго удивлялась, как это Орсо опомнился и не убил ни отца, ни мать. Может, это птица так подействовала? Но на самом-то деле подействовала она, маленькая смуглая девочка, которая нашла слова и заступилась за отца. Неженатый Орсо представил: если б он попал в беду и за него заступилась бы маленькая девочка, враг пожалел бы его? Несколько раз он приходил после службы и подзывал Граню.

Богдану дали поесть, помыться, отпустили на работу, а Таисья хваталась за сердце, когда ее дочу звали к господину Орсо. Показывая на патефон, он пытался ее научить своему маршу. Она, замирая от отвращения, сжимала рот на словах про Муссолини: «За Бенито Муссолини! Хейя, хейя, алала». А потом, когда он принес ей русские слова от своего переводчика, она даже обрадовалась: там было все про юность и весну! «Юность, Юность — Весна прекрасного. Твоя песня жизни звенит и проходит сквозь все печали». «Giovinezza, Giovinezza, Primavera di bellezza, della vita nell'asprezza il tuo canto squilla e va!»

Чудные итальянские слова завораживали, да и сами фашисты уже не казались такими жуткими. Глаза же непонятного фашиста наполнялись слезами, если она хоть этот припев подхватывала. Граня написала на листочке слова своей песни. Она ее знала по Златкиной пластинке: «Солнце и ветер нам лица сожгут, закалят. / Весел, и светел, и радостен будет твой взгляд. / Шепот стыдливый заменит горячая речь. / Нетерпеливо с тобою мы ждать будем встреч, нежных встреч. / Что ж ты опустила глаза? Разве я неправду сказал? / Разве устами алыми ласковых встреч не искали мы? / Что ж ты опустила глаза?»

Орсо не понимал чужих слов. Но когда она стала ему напевать мелодию, он схватился за голову — узнал мотив песни Биксио «Перле мид аморе мерью...» Захотел перевести на итальянский какую-нибудь русскую песню, но переводчик долго тянул. Вскоре итальянские части получили приказ идти дальше, и ощетиленная колонна уехала. Начались бомбежки. Русскую песню господин Орсо так и не выучил.

НЕ СОКОЛ, НЕТ

Как только ушла итальянская часть, в поселок стали потихоньку возвращаться сбежавшие в поисках спасения. Зима была страшно тяжелой. Припасы подъели, многое растащили во время оккупации, старое солонное сало и то кончилось в погребном хранилище. Приходилось искать в поле подмерзлую картошку, из нее лепешки жарить, чуть добавив муки, если была. Цветом лепешки были темно-зеленоватые, зато голод забивали. Смальца тоже не осталось, жарили на комбигире. Жалко, что просто так есть его с хлебом было невозможно.

Стали возвращаться и раненые, в школе снова развернули госпиталь. А сверху, на просторном чердаке, подлатали крышу, поставили парты, и можно уже было учиться. Все классы сидели вместе, в набивку, учителя перекрикивали друг друга. Граня, как и все, писала на тетрадях из газеты, а одна была даже белой, и ей завидовали, ее тетради из кусочков старых обоев. Несмотря на головную боль от шума и крика в чердачном классе, она собиралась что было сил. Учеба ей давала надежду, что кошмар кончится и она уедет в летное. А пока учеба, дежурство в прачечной госпиталя...

Снова Гранина жизнь потекла тяжелой и мутной рекой, какой она бывала по весне у водокачки. Стиранные серо-бурые бинты шевелились меж школьных яблонь, серый горячий пар с прачечной расползался не только по двору, но и по всему околотку. И он был такой липкий, что, опадая мелкими каплями, делался скользкой пленкой. Граня не удивлялась ничему, мать тоже работала на швейных мастерских, часто не приходя домой ночевать. Отец Богдан и подавно водил поезда сутками, приходил домой раз в неделю мыться и отсыпаться — и снова пропадал. Он говорил, что возит все для фронта, все для победы, но вагоны приходят в пункты назначения все в дырах, а иной раз и полстены вагона носит бомбежкой. А тут еще резервный оборонительный отряд сделали на станции, и надо было после смены идти на учения — возили в поле за станцией. Какая ж подготовка, когда падаешь с ног долой? Богдан отругивался и старался попасть до смены.

Однажды он привез с собою котелок меда. Намазал Гране на кусочек глиноватого хлеба, а сам-то не стал. Оказалось, взял попутчика с собой на паровоз, что было запрещено, но уж так человек просился. А на каком-то вокзале попутчик слез за кипятком и тут под налет попал. И остался лежать на том перроне рядом с чайником воды, ожог, не дождутся его дома... А котелок с медом поехал дальше. Тот мед был густой, коричневатый с горьким привкусом. Наверное, горчичный.

Гранино горло сжалось, она боялась есть мед убитого дядьки, но Богдан велел, раз дочка така доходна. Она вправду вытянулась, стала прозрачной, и венки бились на руках, на шее.

И с той поры стала Граня думать, что война — это рабская работа с утра до ночи. Когда уже не хочешь еды, не хочешь радости, а только тупо хочешь спать. «Что ж ты опустила глаза? Разве я неправду сказал?» — бормотала она слова запавшей в сердце песенки. И представляла, что спела бы в ответ, если бы спел это, например, Лешек.

Идя в очередной раз на колонку, решила заглянуть к тете Гуте — как она там? Она и не пошла б, да увидела на веревке постиранные занавески, юбки. Тетя Гута заметила Граню, покачала головой и тут же села на чурбак. Похоже, ноги ее не держали. Косынка была повязана низко и концы наперед, узелочком.

— Как вы тут? Какие вести от Златы? — несмело спросила Граня.

— Вот сижу. Вестей нет! А почему? А потому, детка, что Злата работала на «отом» заводе. Вже не работает. Сбежала домой до мамы, арестовали. Сидит она, детка...

Граня замерла, задышав подстреленно. Она почуяла, близко горе, очень близко. Так, что опалило ее. «Вставай, страна огромная». Они молчали — Гута сидя, Граня стоя. Сколько так молчали, непонятно. И потом раздался стук в ворота, у них на улице принято было стучать сперва в ворота — железной щеколдою. Гута медленно, через силу, пошла открывать.

Через время она уж плакала, но как-то тихо, даваясь, да с закрытым ртом. Выбежала и Граня, едва не споткнувшись об свою флягу на колесах.

У ворот было два солдата, небритых, чумазных. Один, с перевязанной через уши головою — Лешек. Через повязку проступало темное пятно. Ранен. Лешек ранен, бедный. «Что ж ты опустила глаза?..»

— Смотри, Вася, а вот и невеста моя, — растянувши рот, сказал Лешек.

Граня умом понимала, что это он, а лицо признать не могла.

— Да пройдите в дом! — точно заискивая, просила Гута и тянула солдат за рукава. Она обычно никогда ж на улице не кричала. Но тут слезы катились по лицу и лицо маскою застыло. Рада ли она была или очень расстроена — не понять.

Граня, которую никто сюда не звал, сторбилась и пошла домой, гремя флягой на колесах. Нет, это ничего, что он такой страшный. Нет больше той русоволосой красы, нет прохладных его серо-голубых глаз, а только лицо в морщинах и растянутый рот. Он же ясный был, как мог, воевал, страну защищал, красота тут уже ни при чем. Но ей стало жутко. Куда все делось? Кому нужен теперь? Надо любить себе наперекор, вот такого получеловека... Почему-то ей показалось, что это не простая рана, а почти убитый он.

Но нет, он был еще живой. Таисья, прибежавшая домой поесть вареного и помыться, сразу заметила Гранино застывшее лицо.

— Шо ты, зайчик? Хвора?

— Не хвора. Лешек Ковальский пришел, раненый.

— А-а, — протянула понимающе мать, — так ты провидай.

Та кивнула.

Через пару дней она, придя из госпиталя, заплелась туго, тапки брезентовые чисто вымыла, в железную кружечку меда положила, завязав тряпочкой туго. Пошла к Ковальским. Гуты не было. Лешек лежал в Златкиной комнате на кровати.

— Лешек, — позвала она его, — спишь?

Он не сразу отозвался, потом привстал на локте.

— Ат ты, невеста, иди, посиди со мной.

Он был чисто выкупан, в старой заплатанной рубаше, и повязка была другая. Она увидела все это разом, уже недетскими глазами, потом дрожащей рукою мед протянула: «Тебе». Он взял, щекою огладил кружечку, не спрашивая, что там.

— Спасибо, что вернулся, — сказала тихо. — А где твой боевой товарищ?

— Ат ты! Ждала, Граня? Тихо-оня. Товарищ мой поел и пошел дальше, семью искать. Говорят, в Авдеевку эвакуировались, так, может, найдет скоро.

Она промолчала, неловко присаживаясь в ногах его кровати. Он поманил — ближе, сюда.

— Скажи, ты где воевал?

— Там, где родина велела, — и показал пальцем наверх.

Неужели летал? Он еле ворочал языком. Потом закурил, и папирота знакомо запрыгала в углу его рта.

— Знаешь, Граня. В первый же день войны каты покروшили больше половины наших самолетов. Они думали — все, на хрен, страна под ними будет, — и он люто сжал кулак и показал его девочке.

Та даже отшатнулась.

— Не-е-т. Не вышло. Может, и самолетов мало, и хуже они, только мы их таранили. И первый Талалихин. В хвост немцу ка-ак дал! А там Покрышкин. Он же полсотни их сбил!

Лицо Лешака пошло пятнами, он лег на подушку, держа папиросу наотлет. Граня легонько погладила другую руку, лежащую вдоль тела.

— А ты? Как ты-то выжил?

— Я, Граня, вместо трех месяцев учился два. И летной нормы у меня не было. Но как все, летал на задания. Героя из меня, правда, не вышло. Видишь вот.

— А скажи, что самое... страшное? Ну, там...

— Небо в их самолетах. Плотно-плотно, как селедки. И вой. Знаешь, как воют они?

Граня дрогнула от сострадания, и он вдруг неловко потянулся, поцеловал ее. Он себя чувствовал героем, а герою нужна награда. Поцеловал как-то грубо, выкручивая губы, и включился вой у нее в голове, обессиленная, заставляя слушаться. Она вскочила.

— Стой, Граня, стой, не все еще. Я видел, что люди последнее отдавали. Я видел, что на фюзеляже написано «Малый театр фронту». Это так. Но, Граня, бабы летают на тихих самолетах, на «пошках», их сбивают зараз. Не ходи в летчики, Граня... Ни за что! Я выпил троху, мамка выменяла на мыло...

Но она уже не слушала, бежала вон из дома Ковальских — Лешек не просто раненый, а он сильно, сильно пьяный. И долго плакала, не умея понять этой бури в душе, не только горько за страну, где наших баб сбивают на плохих самолетах, но и бунт, что против мечты он сказал. Сказал человек, которого... К которому... А ведь это первый поцелуй в ее жизни. И такой грубый. А поцелуй — когда-то нежно любимого человека. После его прихода все увяло... Все цену потеряло...

Собираясь на очередное дежурство, Богдан пошел до колонки и спустя минуту крикнул от ворот:

— Включайте радио!

Скоро прибежала Таисья и начала поспешно рыться в сундуке. По радио играли марши: «Летят-летят года, уходят во мглу поезда, а в них — солдаты. И в небе темном горит солдатская звезда». И сдавило, стиснуло грудь дикой тревогой. «Приказ Главнокомандующего по советским войскам и Военно-морской флоту... В Берлине представителями немецкого командования подписан акт о безоговорочной капитуляции. Великая Отечественная война, которая победоносно завершилась...»

— Рятуйте... Шо ж це. Победа, чи шо?

Она впопыхах достала парадный, слегка замятый китель Богдана, синий, с лычками на рукавах и на лацканах, так неожиданно блеснувший металлическими пуговицами. Вот, почти ненадеванный. Не до кителя.

По улицам бежали люди, даже полуодетые. Все почему-то бежали на железнодорожную станцию, потому что оттуда неслись звуки, оттуда прибывала новая жизнь. Из теплушек выскакивали чумазые люди в гимнастерках, с мешками... они вмиг растекались по путям... и шел новый поезд. В глазах Грани именно паровоз стал символом Победы. Он подходил, оглушительно гремя и шипя, в клубах дыма, и медленно приближалась звезда на паровозе, росла, сверкая во весь обзор, во весь свет.

На перроне стояла тетя Гута Ковальская и страшно рыдала. Она к этому дню получила сына-калеку и похоронку на мужа, а дочка золото-

волосая вообще сгнула невесту куда. Таисью как-то сразу отвернуло от толчей на перроне, она махнула нырнувшему в толпу Богдану, и они с Граней незаметно протолкались к Гуте. Стали рядом, обняв ее. Ветер охлестывал, трепал одежду. Но глаза их были сухие. И этот вихрь от паровоза, и плач, и целый вихрь в душе девочки. Победа! Можно обниматься и кричать «Ура!» в реве марша. Даже в реве гудка паровозного. Она никогда не задумывалась, но как все на свете выражает этот гудок — и горе, и счастье. Горло сдавит, как песня. Наверно, потому их районная газета так и зовется — «Гудок». Чтоб слышали все!.. А пока поет он печально и яростно, можно дать волю чувствам и мыслям, которые запрещала себе.

Траур занялся по умирающей, даже не расцветшей еще любви. Еще сохраняя память о ней, она чувствовала слабое тепло, сквозящее через болезнь его и пьянство, но изнутри уже понимала — ничего не будет, ничего не вырастет из того пепла...

Да, она хотела сейчас, прямо после десятого класса, пойти в летную школу и через два месяца летать. От тети Наташи Корягиной слышала, что уже созданы новые истребители и бомбардировщики, и для них нужны будут кадры. Но нужно ли это теперь? Раз отец Корягин сидит, а тетя Наташа продает керосин в лавке, кто ей поможет? И уж точно не слабый, искалеченный Лешек...

Она пошла на рынок в керосиновую лавку, дождалась, как придет керосинщица тетя Наташа Корягина. И, помявшись, попросила тетя Наташу написать в училище, где она работала, чтоб узнать, там ли оно до сих пор.

— Написать-то я могу, — деланно улыбаясь, уронила тетя Наташа. — Да не поможет это. После истории с папой меня уволили, а жила я там в служебной квартире... Здесь хоть домишко. И вообще... Какая я теперь помощница? От меня только вред.

— Ну, тетя Наташ!

— А что «тетя Наташ»? Ты хоть про Полину-то знаешь? — и она отвернулась, почему-то кивая головой. — Нет ее больше.

— Нет! — Граня прикрыла рот ладонью, чтобы не закричать. — Не надо, не говорите!

— Еще до войны разбилась в самолете, я сама вот недавно узнала. Это было в тридцать девятом. Да как-то странно, загадочно разбилась. В учебном самолете она летела с Серовым. Оба — асы. Как так они могли не справиться с управлением? Говорят: «При полном отсутствии видимости самолет ушел в штопор». А еще говорят, что всегда есть шанс катапультироваться! Значит, даже этого не смогли? Тогда все подстроено. Серов — муж знаменитой актрисы, начальник летной инспекции, лично сбил бомбардировщик Франко над Испанией. Осипенко — летчица-рекордсменка. Ну что там могло быть? Понимаешь, у Полины первый муж в лагерях сгинул, мне кажется, искала она его, добивалась. Но мало ли кто кого ищет... Ты никому, слышишь, Граня? Вон, люди идут...

Граня, точно онемев, быстро вышла из керосинной лавки и зашагала домой. Только по дороге она обнаружила в руках пустой керосиновый бидон.

Время шло в ожидании вестей от Корягиной. А пока Граня, сцепив зубы, продолжала делать трудную зарядку — отжимы от земли, кирпичи поднимала одной рукой, бегала по железной лестнице на чердак, обливалась утром холодной водой. Падая от невероятной усталости, она ре-

пшала задачки по физике, рисовала на память географические карты. Приближались экзамены в школе. Раненых перевезли в больничные бараки, в школе уже не осталось их.

Временами ей хотелось бросить все, кинуться на грудь к Лешку и больше судьбу не испытывать. Того же, видимо, ждала и тетя Гута, но Граня приходила, видела пьяного Лешка, и точно обрывалось все у нее в душе. Даже трезвым он вел себя странно: то хватался за стенку, за стол, будто боялся упасть, то кричал, закрывая голову подушкой, то вдруг затихал, то смеялся. Гута вздыхала: «Контуженный... Отойдет». А куда отойдет? И когда?

Нет, нет, это трясина. Даже думать страшно.

Когда Граня заканчивала еще девятый класс, отец сказал, что можно бы поехать в Донецкий медицинский институт. Только так все это далеко, что лучше не задумляться. Да, можно судьбу попытать и без знакомых, но лучше бы никуда не ездить. Тогда он, будучи машинистом, устроит дочку в контору на железной дороге. Школы хватит, чтобы сидеть в чистом и иметь твердую зарплату и продуктовую карточку.

Отец что-то еще говорил, куда идти выгодно, куда еще выгодней, а Граня думала совсем о другом. У них соседи Корягины были, это так. Корягин — строитель-универсал, умелец, мастер на все руки, помогал молодому Богдану дом строить, а дети его жили отдельно. Да, дочь Корягина сто лет назад работала там, где учили на летчиков. И первая сказала про летное училище, и еще, что нужна туда особая подготовка. Граня настолько впитала эти слова, что стала готовиться именно к такому пути! У них в школе была физкультура перед занятиями и уроки отдельно. Кроме грядок, перед школой была пустая площадь, и учитель в рупор командовал. Это было хорошо, полезно.

Физкультурой себя готовила Граня и еще характером. Ей нужен был твердый характер, сильная воля! Там ведь нужна огромная выдержка. После войны понятие о героизме было самое главное, самое святое. В жизни надо было героем быть, как и на войне. Героев знали все и стремились на них быть похожими. Осипенко, Гризодубова восхищали, вот и решила. Хотелось быть такой, как они. Тогда, после войны, все примеры были перед глазами.

И вот тетя Наташа сама пришла. Качинское училище переехало, да еще бог знает куда — в Красный Кут!

— Да где? — шепотом закричала Граня. — Да где?

— Да вот, смотри! Эвакуировали их, что ж делать?

«Красный Кут», — расплывалось в глазах. Богдан подошел, взял конверт посмотреть.

«Сейчас как даст!» — испугалась Граня.

— Здравствуйте, дядько Богдан, — поспешила раскланяться тетя Наташа. — А тебе, Граня, — грустно сказала она, — я бы ехать не советовала. Все-таки мы были в оккупации. Могут не понять.

— Подумал, что опять пришла дивчину травить тою вашей сказкой про самолеты, — недовольно проговорил Богдан. — Та сказка, она ж как яд.

— Нет, я, наоборот, не советую. Время такое, дядько Богдан. От отца целый год нет ничего.

...Рано утром собрала усталая Таисья дочку Граню. Пока отец за водою ходил, нужно было умыться, одеться, поесть холодного толченого гороха с рассолом от соленого помидора, ибо помидоры давно кончились.

Да хоть бутылку воды с собою налить. Платье хорошее, темно-синий габардин, ладно перешитое из отцовых брюк. Китель был очень велик, ос-тался в шкафу, в голод хотели сменить его на муку, не вышло. А штаны Богдан прожег сигаркою. Не бросать же добро. И хоть юбочка была стач-ная, и верх на кокетке, оно было жестенькое, держало форму. На худой дивчине как влитое.

Чулки дала простые, но покрепче, тряпочку тапки смахнуть, хлеба с собою, сахару кусочками.

Таисья шепнула, что Богдана не надо сердить, у него билет бесплат-ный, как у машиниста, с работы отпросился, может, помогут ему добрать-ся до того Красного Кута. Они сейчас собрались в Донецк с его напарни-ком, где его посадят на симферопольский поезд, до Саратова, а там будет полегче.

— Документы проверь, которые спросить могут. А вот моя кофта ста-рая с косынкою. Накинь, чтоб победней было. Жуликов кругом...

Богдан был и правда злой с утра. Гыркал на Граню, на мать.

— Будешь тут гостюваты, знайдешь с кем.

Граня даже удивилась — у матери не было ни друзей, ни подруг, она даже сестер своих не звала до себя в хату. Она с сестрами видалась у ста-рой-престарой бабушки.

Дорога оказалась тяжкою. Билет не давал права сидеть на отдельном месте, все лезли куда ни попадя, по головам. Крик стоял, как на бойне, аж душу выворачивало! Да и то сказать, не на гулянку ехали, а каждый с бедой да заботой. Вагоны почти все были теплушки, а туда не сразу и за-берешься: мужички еще кое-как, а женщины жалко висли на руках, бол-тая ногами.

Богдан пошел к машинисту, чтобы попроситься в паровоз, но тот, хоть и признал своего, отказал — боялся, что накажут. Был там и классный вагон для начальства — отец мимоходом сказал, что такой в любом поез-де есть, да не про нашу честь. Они почти всегда идут пустые. Он даже поднял дочку глянуть в окошко. О-о, какие диванчики, кресла, ковры, столики, а на них еще и лампы настольные...

— Старый пульман, — вздохнул машинист, — довоенный.

— А что такое пульман?

— Потом.

А потом он показал Гране две большие марки в прозрачном пакете. На одной — сказочный вагончик, нарядный, как пряник, нежно-желтый, с крышей голубого цвета. Пульман цесаревича. «Pulmanan» — написано на вагоне. А на второй — первый пассажирский паровоз «Москва-Петер-бург».

Повезло Машталаповым только тем, что сели они в обычный старый вагон, да и то потому, что нечаянно пролезли не в ту дверь, где пускали, а в следующем вагоне, с другой платформы. Туда протиснулся проводник, не успел, видно, закрыть.

На второй полке сидели так же, как на первой, да еще и ноги в гряз-ной обуви свисали в проход. Вот и маячили чьи-то галоши глубокие пе-ред ее лицом, веревкою привязаны. Ну и воняло от них! В такой-то давке еще и билеты проверяли. Граня поняла, что одна совсем бы тут пропала. И ни есть, ни пить не хотелось, все внутри сжалось и застыло.

Ехать надо было через Мариуполь, Азов, Ростов-на-Дону, Шахты, Сталинград...

Города мало чем отличались друг от друга — низкие кирпичные дома,

разрушенной бомбежкой здания, кучи мусора и крестовидных заграждений. Ростов, хотя и сильно был разрушен войною, все-таки уже восстанавливали. Пожилая попутчица, у которой была родня в Ростове, рассказывала, что творилось, когда уходили немцы. Говорят, вся тюрьма была завалена трупами людей, они были и в камерах, и даже на площади перед тюрьмой, целые терриконы. А сколько угнали на каторгу! Гране было отчаянно смотреть на разорение жизни. Она привыкла, что Украина — гордость, Украина — житница... Она уже думала, может, зря так прикипела душой к самолетам. Может, есть более простые и нужные дела. Ей даже стыдно стало за свое хорошее платье под материной кофтой. Ее гол и усталость в госпитале ничто перед угоном в германскую каторгу.

Да, надо бы сделать так, как твердил отец: пойти работать в контору на железнодорожной станции и помочь выходить раненого Лешака... Но она ехала в далекий, никому неизвестный Кут (кут — это значит угол?), чтобы там искать летное училище. Чего захотела?! Нелепо. Стыдно. Так она думала. А того не понимала, что ее стремления были куда более нормальны, чем у многих других. Ведь она замахнулась на великие дела, а их у самой-то земли и не разглядеть.

Ростов был разрушенный. Но все-таки много поездов ходило через него, часто стояли, пропуская военные эшелоны. Сколько же их было... На стоянках невесть откуда брались бабки — продавали макуху серыми кусочками. Богдан сказал — отжимки от масла, абы не с шелухой, так похоже на халву, но Граня халву не помнила. Она погрызла маслянистой макухи, очень вкусно показалось. Еще приносили к поезду темные груши-дички, те, что уцелели от зимы. Но их есть отец не разрешил.

До Сталинграда немного не доехали, встали, там шел ремонт дороги, они стояли на полустанке. Потом состав несколько раз двигали, уже близко к городу. В напряженном калено-медном небе печатались не дома, а стены с дырами, как решетки. Смотреть было невыносимо. Долго стояли. Потом двинул рывком, еще, еще. Все головы отмотали: туды-сюды, туды-сюды. Перед глазами качались утомленные, потные лица. В окно вагона Граня увидела жуткую загадочную картину — вдоль путей шла бесконечная черная колонна, похожая на громадную гусеницу. А ведь люди.

— Пленных гонят, — сказал дядька в углу. — Эшелонов не хватает, так пещи. А что тут в сорок третьем было, мама не горюй! Тыщи и тыщи!.. Сейчас-то их уж мало таких. Кто помер, кого наладили на стройки родины.

Мало? Это бесконечное мрачное шествие — и это мало? Долго жалась в углу Граня, от сидения затекали ноги-руки. А ходить по вагону отец ей запретил. Потом задремала, положив голову ему на колена, застеленные тою же свернутой кофтой.

Вокзал в Саратове поразил уже тем, что он был. Пусть серый, ободраный, похожий на барак, но был. И окна в нем большие, неразбитые. И рядом в сером рассвете по-домашнему толклись люди в фуфайках, длинных мятых одеждах, в пиджаках и платках. Посадив дочку рядом с громкой семьей татар, Богдан нырнул внутрь вокзала. Не сразу, но узнал, что дальше им ехать на поезде не выйдет, а надо на попутной машине, до Кута.

Пожевавши хлеб и попив воды из колонки, суровая Граня была к бою готова. Прибаливала спина, ноги как-то плохо слушались, но в целом живая. Она несколько раз вздохнула глубоко, повеселела. Татарская мам-

ка поглядела, как она сидит одна на ящике, и дала ей странную лепешку, без соли, без сахара. Но очень вкусная лепешка, маслянистая. Мамка была полная, в синем балахоне, оплечье и низ отстрочены красным сукном. Мамка ласково улыбалась ей, кивала, обводя рукою своих черненьких детей и указуя на Граню. Из чего Граня решила, что ее приняли за свою. Смешно.

И вот они с Богданом с трудом влезли в грузовик с какими-то тюками, может, какое обмундирование или что тряпичное. Грузовик повез их в Красный Кут. И ехали-то часа два, но в кузове сильно подкидывало, набилось пылюки, и даже в волосы, так что прибыли они вполне потрепанные. Надо было идти ногами к счастью или к несчастью.

Сердце Грани мучительно медленно билось, руки заледенели.

— Хиба ты хвора? — нахмурился Богдан. — Така зелена.

— Нет, просто я это... Боюсь.

Дорогу им указал молоденький милиционер. Корпус училища на улице Авиационной был просто домиком в поле. Неподалеку стоял памятник самолету, то есть старый самолет, отлетавший свое. Его марку Граня не знала, но, наверно, это был тот неуклюжий самолетик, на котором, по словам милого Лешака, «летали бабы» и их быстро сбивали. Какие там гидросамолеты! Подошел пожилой человек в форме и спросил:

— Зачем к нам?

— Узнать о поступлении, — отчеканила Граня.

— Пройдемте.

Прошли в домик на второй этаж. Деревянная лестница жутко скрипела. Все было ветхое, как вокзал в Саратове. Богдан тяжело пустился на скамейку у стены.

— Покажите ваши документы. У вас направление?

— Нет.

— А где аттестат?

— Я закачиваю и после экзаменов сразу сюда. Вот справка об успеваемости за предыдущие годы, вот полугодие этого года, медицинская справка, фотографии.

— Девушка, без аттестата нельзя. Хотя вижу, что у вас успеваемость есть.

— Я привезу. Я готова, чтобы...

— Но у нас не все специальности открыты для женщин. Только гражданские. Подготовка пилотов гражданской авиации...

— Ну, какие открыты. Штурмана, бортмеханики.

— Так, стойте. Донецкая область?

— Да, Авдеевка Донецкой области. Что?

— Товарищ Машталапова, у нас Донецкая область была в оккупации.

— Была. Но я работала в госпитале. Справка вот.

Вы не понимаете? Мы не сможем вас принять. Есть распоряжение. Кто был в оккупации — нельзя.

Тут подал голос и Богдан.

— Вы, товарищ, говорите про военных летчиков. А у вас теперь — гражданка. На входе ж написано.

— Товарищ, не знаете, не говорите. Правила одни для всех.

— Но Полину Осипенко тоже сначала не приняли. А она потом всем доказала.

— Что, что доказала?

— Что достойна!

— Ну, знаете, есть дисциплина!

— Значит — нельзя? Значит — конец всему?..

Граня, дрожа, собирала в кучу все бумаги и никак не могла сладить.
— А вам что, товарищ? — обратился пожилой к Богдану, превшему в железнодорожной тужурке.

У того даже лысина покраснела. Заодно с шеей.

— Сопровождающий, — буркнул Богдан. — Отец я. Не знаете, как скорейше добраться до Саратова?

— Со станции ходит рабочий поезд. Есть вечерний.

— До свидания. А ты — терпи.

А она и так ступала как во сне, сцепивши зубы. Нет, только не рыдать здесь, у них на виду. Они опять долго шли с той Авиационной до станции, и опять дул ветер, задира на нем старый пиджак, на ней — кофту, и было большое грозное небо над ними. Нет, она не рыдала, просто шла в своем взрослом горе, с усилием вдыхая в себя воздух, чтобы жить. А жить не хотелось. Это столько времени мечту в себе держать, а она — ффр! — и улетела из разорванной груди. И Богдан, который без слов получил доказательство своей правоты, был не радый совсем. Наоборот, он только разглядел непростой характер дочери. Такая ведь не постоит ни за чем, кинется еще куда-нибудь. И так мерзко было от тех правил, и мрачное несогласие росло в нем. «Напьюся». Но чтоб напиться, надо было добраться домой.

А это было, ой, нелегко, гораздо трудней, чем добраться в Саратов.

В Саратове кое-как залезли в теплушку на Мариуполь, устроились на ящики в углу, под спину набив затоптанную солому. Напротив них кучей сбились на полу беженцы. И дети, какие маленькие дети, все в платочках, не поймешь, кто девочка, кто мальчик.

Богдан, закряхтев, сел рядом. Тяжелой рукой погладил дочь по габардиновой спинке. «Ничого, ничого». Но Граня молчала, цепко держась за ящик. Рот ее был сжат до побеления, косы тяжело и антрацитово струились по обе стороны шеи, опоясывая затылок. Не, уже не сверкали, напротив, гасли черные ее глаза, под которыми упали острые тени. Она замолчала надолго.

Что в ней росло, что убывало? Перед глазами стояло безумное лицо Лешака на подушке. «Ат ты, невеста». Лицо пожилого дядьки в училище. «Нельзя». Это «нельзя» росло и множилось в ней, давая всякую волю к жизни. Вагон качал ее в своей чудовищной деревянной люльке. Высокий голос из радио: «Чому я не сокил, чому не летаю?» А вот тебе боженька крыльев не дал, чтоб землю покинул и в небо слетал. Пусть поют в душе паровозные гудки, отзываясь долгим и трубным эхом.

— Скажи, отец, гудки ж говорят?

— Та тут зависит от обстановки. Основное: три свистка — это всегда либо остановка, либо торможение. Два — движение назад. Один — вперед.

Есть вытребеньки, вроде повестительного при движении по неправильному, левому, пути — длинный — короткий — длинный, кажется.

Есть всякая тревога: общей тревоги сигнал, на все случаи: длинный — три коротких с повторами. Или, например, длинный — короткий с повторами — химическая или радиационная тревога. Если с хвоста подталкивают, на тяжелом профиле, то так: два коротких — требование начать подталкивание.

Один короткий, один длинный и один короткий — требование прекратить подталкивание, но не отставать от поезда.

— А зачем толкать-то?

— Всяко бывает. Состав примерзает к путям зимою. Или состав тяжелый, мабуть, бронетехника чи шо там. Нужен второй паровоз. Шоб понимал, шо делает главный локомотив и как помочь. Та там свод целый, инструкции по сигнализации... на шо воно тоби.

— А я бы сейчас включила общую тревогу, отец. Длинный и три коротких. И так до самого дома. И неужели ты все их помнишь? — прошептала Граня.

— Та я не токо сигнализацию, я и размерность по подвижному составу всю помню, у сантиметрах. Ты краще б заснула. Вымоталась.

— Спасибо, отец, — и припала к его крутому плечу.

ЧЕМОДАН

Надежда, которая так держала Граню на плаву, не давала утонуть в тоске, — надежда эта разбилась вдребезги. Не будет она летать, не сможет догнать Полину Осипенко. Не сможет быть полезной Родине. Граня вся застыла. Стала тихая, смотрела исподлобья. Сей год она сажала огород вместе с родителями, хотя они ее не заставляли, год-то нелегкий. Но огород-то год кормит. Взяли с собой как взрослую, да и было ли у нее то детство? Всегда находилось дело, чтоб не бегать, не глазеть по сторонам. То кукурузу лущить, то лук заплетать в косы, то подать, то носки-чулки штопать, надев на лампочку, целый мешок их лежал наготове, то принести, то за водою сходить. Так и привыкла, в землю уставясь, ходить. И работала она ожесточенно. Копать землю начала так, будто она враг. Точно хотелось выместить свое чувство обиды, заглушить ноющую боль болью физической, усталостью. Но потом поняла, что сорвет спину и будет не помощница. Свиристел жаворонок в голубой высоте, но она не поднимала головы. Кто бы глянул на нее — zalюбовался. Тонкая лозина, в наклоне, а посадка головы — гордячки. То ли балерина, то ли из благородных. Но смотреть особо некому было. К Ковальским ходила реже, реже... Вечером мыла сапоги от вязкой земли, тыльной стороной руки убирая пот со лба.

В это время пришла к ней одноклассница Катя Чурилова и возбужденно выпалила:

— Грань, а Грань! Ты уже знаешь?

— Чего ж мне надо знать? Не знаю.

— Так на вокзале ж! — заторопилась Катя. — Огромный плакат: «Приглашает СХИ». Большой набор, много специальностей, надо восстанавливать народное хозяйство и так далее. Ну, нас из всего околотка шесть человек желающих набралось, все воодушевленные такие!

Среди них, кроме Кати Чуриловой, оказались из их класса Люся Туполева, Ваня Москаленко, Валера и Миля Колечкины, учительские дети, и с этим отрядом детей одна чья-то мать поедет, наверно, Колечкина.

— Да и в школу ведь приходили, целая делегация. Ну, сразу, как аттестаты выдавали. Тебя на выдаче аттестатов вроде не было, где ж ты была?

— На огороде.

— А-а, ну понятно. Я тут тебе бумажку припасла, чтоб ты тихесэнько прочитала. На и решай, може, с нами поедешь.

Положив тряпку и вымыв руки, Граня усталилась в бледную, косо отпечатанную бумагу. Так-так: агрономия, инженерное дело, зоотехника, землеустройство, мелиорация... Изо всех ей ближе инженерное дело. Но если мест не хватит, можно на зоотехнику. А может, все-таки на станцию? Ведь паровоз это спаситель человечества. И голос его всегда зовет в бой, и сам он прекрасен, как Данко!

Ясно, отец сразу был «против» — и куда ты, и зачем ты, и устроим тебя лучше в контору... Но мать Таисья, пригладив свою и так гладкую голову натруженными руками, сказала:

— Хай йидэ, вона больша дивчина. Хай будэ нэ то, шо тоби надо, а то шо, вона хоче.

— Цыц, — нахмурился Богдан, — у кого тут пятки черны? Постылая. Даже удивительно для такого мягкого покорного человека, как мать, ведь она всегда слушалась отца. Но дочка еще раньше чуяла несправедливое отношение отца к матери.

— Чего это он?

— Ничего, детка, це, може быть, ще друга появилась...

В маленьком фанерном чемоданчике было мало вещей — две майки, пара нательного, рейтузы с начесом, две пары чулок, одни чулки простые, другие фильдеперсовые... Юбка черная. Книги, любимые и не раз читанные, «Жизнь Клима Самгина» Горького, «Овод» Войнич. В клубе около станции уже крутили «Небесный тихоход», где летчиков не убивали, наоборот, они веселились, пели. Неулыбчивую Граню это смущало, и она зачастила в библиотеку. Потом в чемоданчик легла аккуратно завернутая карточка Осипенко и газета с рассказом про нее. И, конечно, карточка Лешака в обнимку со Златкой, на нем тот самый двубортный костюм, папироска в углу рта, да чуб на лоб. А на Злате — светлый крепдешин в черный горошек, вся в бантиках, рукава-фонарики, коса на плече. И вся она, как спелая абрикосина в бархатной кожуре, не может улыбку сдерживать. Где же она, подруга детства? Хоть написала бы, даже если сидит. Ведь адрес должна помнить! Раньше так все рассказывала — и про своих женихов, и про все, что творится дома, а тут забыла... Хотя, может, ей и переписка запрещена, ведь не пишет даже матери. Теплое чувство охватывало Граню, когда она смотрела на карточку, сделанную самим Ковальским, их отцом, и внизу, под обрезом, на белом поле — два голубка. А на другой фотографии стояли в роще подружки — Граня и Злата, еще малые, в школьной форме. Личики, что твои яблоки. Стоят, взявшись за руки, сияя глазами и улыбками. Фотограф Ковальский, романтик, убитый на войне.

А у Люси Туполевой отец — демобилизованный военный, привез много всего из Германии, так что ее чемодан был огромный, с платьями, костюмом, туфлями на каблуках, ботами резиновыми для тех туфель... И даже с упакованным на холод пальто. Серый бостон с серым каракулем, и даже с муфтой. Она показывала все эти вытребеньки, от которых глаза лезли на лоб. Она неженка, всего боялась, скучала по колбаске, не хотела уезжать из дома, ведь любили ее, баловали. А что Граня? Ее дома ждали совсем не колбаска!

Ее ждали огороды, кирка на летних каникулах, которая при размахе руки отрывает.

Богдан долго сопел, глядя на дочкины сборы. Потом сказал:

— Поезд напрямую нэ пойдэ. На Касторной надо перейти на другой поезд. Чуешь?

— Чую.

На это легко было ответить: «Попросим проводника подсказать». А как сошли с поезда в утренней мгле, да в каком-то глухом степу, попрыгали прямо в бурьян, стоявший по пояс, так растерялись. С ними родители ничьи не поехали, потому что еле набрали денег на дорогу детям. Девочки стайкой бежали через лощину, перегибаясь от тяжести своих чемоданов, а у кого были — и продуктовых корзиночек. Бежали, дрожа и задыхаясь, потому что боялись опоздать на другой поезд, до самого места который. Накрапывал дождик.

— Гранька, куда припустила? Меня почекай.

— Никто тебя не заставлял, Люся, столько брать.

— Так ото ж все нужно! Давай, може, палку проденем, а то одной никак.

Наконец, показалось низенькое здание станции, потемневшее от дождя. Как же радостно было забраться под крышу и расположиться прямо на полу. Все были мокрые, с прилипшей травой. Ну, да не страшно. Граня, забыв о передышке, побежала спрашивать, когда пойдет их поезд, оказалось — через час. Бежали не зря. А сердце-то билось. Как лезли в вагон, лучше не вспоминать, слезы одни.

На другое утро они добрались. Сели на старый трамвай и отправились на другой конец города. Бренчали по рельсам мимо пустырей и развалин. Документы приняли у всех и отправили ночевать в институтское общежитие. Барак баракком, хоть и трехэтажное...

Катя Чурилова, видя, что Люся клещом прицепилась до Грани, незаметно порулила от них прочь. Они с Милей Колечкиной и сдавали вместе на зоотехников. А Машталапова с Туполевой двинули на агрофак.

Когда писали на вступительных сочинение, Граня не боялась и села отдельно ото всех, впереди. Все, кто мечтал списать, сбились на галерке. А упрямой-то что? Лучшие сочинения писала в школе. Села на первую парту одна, в своей кофте зеленой, и коса толстая по спине. Кто сдавал в этой группе, удивились слегка. Раз так решительно идет и не боится, и вид суровый, значит, демобилизованная. Хотя абитуриентка не могла ею быть даже по возрасту. «Революционная романтика в зарубежной литературе?» Почему ж не Овод? Как оказалось, сочинение Грани и еще одного паренька в гимнастерке были на пять.

А когда сдавали ту же физику — еще одно приключение.

«Демобилизованная», как про себя ее окрестили экзаменаторы, подозрительно быстро все написала. Преподаватель, видя это, деликатно спросил: «Вы готовы?» — «Да». — «Так помогите вон той девушке... Плачет что-то». Это была бедная Люська Туполева. Ее пересадили к Гране и та не выдала, что это ее подруга. Ну, тихо подсказала ей задачу и вопрос. Она кое-как ответила на три. А Граня на четыре. Но потом оказалось, что конкурс нагнали агитацией аж четыре человека на место! И Люся явно не прошла. После экзамена список внизу повесили — Туполевой там не было. Расплакалась ужасно.

Они ели в общаге похлебку с луком и крупой, которую сварганили из чего было. Гране надо было учить следующие экзамены, биологию, химию, но Люся сидела как в воду опущенная. Граня озаботилась ее бедою и сказала:

— Пошли хоть в педагогический, узнаем конкурс. Зря ты, что ли, сдавала?

Они потащились пешком в ужасную даль из СХИ в педагогический. Несли чемодан на палке, тяжело очень... Там, значит, вахтерша. Такая

востроносенькая, рыженькая, с пучком волос на затылке, в глухой блузе защитного цвета, перешитой из чего-то военного, в больших, не по росту, мужских ботинках. Конопушки густые, а глаза честные-пречестные.

— Вы куда с таким чемоданом?

— Да мы документы сдать.

— Нельзя с вещами ходить. Оставьте вон там, никто не возьмет.

Она показала на дверцу с пожарным шлангом, и они там чемодан оставили и палку рядом положили. А сама подумала: «Интересно, которой из них чемодан? Если той, чернявой, то жалко, больно худа. А если той, в цветастом платье — не жалко, вон какие щеки-то». Она все мерила едой. На вахтерше висело трое голодных детей, своих двое да один безпризорный. Соседка поможет толкнуть шмотки, может, хватит на несколько дней. А эти разини деревенские не подохнут, не маленькие дети». У нее было такое загнанное состояние, что она сама не поняла, как это она решилась. Первый раз в жизни решилась на такое несчастная вахтерша.

Сдали документы, все нормально, приняли Люсю, зачли все баллы, которые она набрала в СХИ — то есть Люся прошла, так как в то время в педу был недобор. Вернулись радостные вниз. Их всего-то час, может, и не было. Оживленно переговариваясь, девушки спустились по широкой лестнице в холл.

— Отдайте наш чемодан.

— Какой чемодан? Не видела никакого чемодана.

— Что вы, тетя. Большой чемодан, мы вон туда за дверцу ставили!

— Эта дверца забита наглухо и ключей от нее сроду нету. Дергайте, — и давай клясться-божиться, что впервые слышит про чемодан.

Девушки, пыхтя, стали дергать — все было бесполезно. Только ручку зря отломали. Их сжигал стыд за чужой обман.

— Можете вызывать милицию, я ничего не знаю!

Она на них даже не смотрела! И сидела такая строгая, и глаза честные-пречестные. От этой безвыходности хотелось кричать, биться об стену. Как вареные, вышли они на улицу.

— Идем в общежитие, Люська, — решительно сказала Граня. — Хоть в мое, хоть в твое. Вот же оно, рядом. Хоть переночуешь, потом подумаем, как быть.

Как же плакала бедная Люся, причитая в голос, ведь там все вещи, все деньги остались. Но тетка не призналась. После войны разруха, голод, есть нечего, тут чемодан такой вызывающий — а кто разберется? Нет виноватых. Люся стала опять рваться на вокзал, ей уже и института не надо. Добрались до вокзала, стали у касс толкаться с Люськой. Граня ее останавливать — так теперь же денег не хватит у тебя. Посчитали — точно, не хватит. Люська взмолилась:

— Грань, дай займы.

— Да какое займы! С собой тоже нет, надо идти в общежитие черт-те куда, обратно в СХИ. Люся, — говорила Граня, — мне тебя очень жалко. Но ты понимаешь, нет уже сил с тобой ходить. Я и так все бросила, везде опаздываю. Консультацию пропустила. Давай — ты переночуешь у нас, потом утром все решим.

— Нет, я хочу домой. Ненавижу этот город, нечего мне тут делать. Ты иди бога ради за деньгами, я буду тебя тут ждать, — зареванная, села на приступочку, голову вжала в плечи.

— Люся, ты зачем из всего делаешь трагедию? Утихни, мне тоже тяжело. Не реви больше, а?

И нечего делать, поплелась Граня в общежитие с вокзала на СХИ. Сколько же километров она промерила в тот злосчастный день? Не будь жесткой физподготовки, рухнула бы давно. Ну, не хотела она идти на вокзал, уже устала до ужаса, а тут еще тревога до предела. «Ну почему я, почему меня, а не кого-то другого ждет на вокзале бедная Люська? Ведь если же я не приду, она так и останется там ночь сидеть. И тоже голодная... А потому, наверное, что «демобилизованная». Наверно, это на мне написано».

Принесла Граня подружке деньги, на билет вроде хватило, на поезд тоже успевала. Но у Грани это были последние, что дала мать, на что жить?

— Я пришлю срочным переводом, спасибо, Гранечка! — так говорила бедная Люся, заглядывая в глаза.

И уехала она обратно домой. Дорога была такая же ненормальная, от Воронежа до Касторной-1 ехать, потом выйти, перейти через лощину до Касторной-2, там снова сесть на поезд до дома, до Ясиноватой Донецкой области. Кто не ездил, те и не верили в дикость такую, а тогда ныряли в день, и в ночь — в проклятую лощину и бегом до Касторной-2.

Люся наша доехала, выслала деньги и больше никуда рваться не стала. Нашла паренька с железной дороги, замуж вышла, работала всю жизнь в конторе при железной дороге. Она ведь не свою судьбу жила, а Гранину — так, как той отец Богдан предсказывал. Но Граня уже не вернулась... Не тот характер. Поголодала, конечно. Зато Катька Чурилова очень ее жалела и не один раз приносила в комнату кастрюльку с недоеденной кашей, чуть политой подсолнечным маслом. «Гранечка, ты героинька моя». А еще она так говорила, понижая голос: «Сегодня ничего нету дома — Милька влюбилась и с расстройства весь паек наш прикончила».

Кроме Люси, поступила вся группа. Да и она бы поступила, если б не чемодан. Чемодан был доказательством детства и бессилия. Говорили же — никому не давай чемодан, не оставляй чужим людям. Люся доверчивая, оставила — и попала в беду.

Граню не воспитывали дома, правда, иногда давали советы, как себя вести. Твердила Таисья: «Тебе никто не поможет, яке ты будешь одна. Ты полагайся только на себя, ты будешь одна среди людей, но они тебя ничему не научат хорошему, скорей плохому». Отец Богдан добавлял: «Ты не знаешь, как поступить — тогда делай, чтоб не было стыдно, от людей. Как? Это уже другой вопрос».

Люсю не учили бояться жуликов. Дома их не было, везде, где могла очутиться Люся, были свои. Попала к чужим — и конец. А Граню не учили стирать, тем более такое. Она могла работать как сумасшедшая. Она могла белье прополоскать, повесить на веревку. Но не так, как в общежитии. Тут спать было невозможно — кусали клопы. И столько их было, что каждая ночь становилась испытанием.

Граня горела, металась, расчесывая бесчисленные волдыри, наконец, просыпалась, вставала, включала свет... И ничего не видела, потому что кошмарные насекомые убежали, оставляя непоправимые пятна на простынях. Их нельзя было отстирать. И стало домашней девочке ужас как стыдно, она пыталась замачивать эту жуть в холодной воде, стругала туда мыло... Бесполезно. Да и мыло можно было купить только с рук и задорого. В один из таких постирочных деньков она стерла пальцы почти до

лохмотьев, отжала белье, повесила на кухне, да прямо над кастрюлями. Прямо над конфорками веревка была. Как пошел народ с занятий, как начал чугуны вытаскивать к еде, увидел такое безобразие, и сразу стал возмущаться:

— Ну-ка, убирай сейчас же!

— А куда?

— А куда ум подскажет! Не над едой же.

Граня сняла эти позорные простыни, отошла подальше в сирень и стала плакать. Твердокаменная эта девочка с военным почти воспитанием. Бывалые студентки услышали да к ней:

— Ты чего тут?

— Да вот... Простыни...

— Ой, да ну еще реветь. Ерунда. Научим.

И правда, научили ее, как золу из печи собрать, прокипятить в тазу и процедить, потом туда застиранную простынь — и варить. Сначала зола серая, но, если навести погуще, после варки простыни эти пятна бледнели и сходили, ведь это щелочь с золой-то. Пусть ткань серая останется, но зато без пятен. Мыло тоже было, но темное, самодельное, руки от него облезали.

Граня перед началом занятий стала пристально осматривать свою одежду, боясь, что там окажется что-то ползущее. А на лекции, присмотревшись к девушке, сидящей впереди, вдруг заметила на ее платке вошь. Побагровев от макушки до шеи, она в панике хлопнула соседку книгой по плечу, спросив сквозь зубы: «У тебя нет такой на время?» Девушка нехотя обернулась и сказала, что даст, она во втором корпусе на первом этаже, комната такая-то. Граня пылала до конца лекции, за книгой пришлось уйти.

Пришлось выживать и начинать страшную войну. Граня сходила к комендантше, та дала ужасно сильную отраву и научила, как обработать комнату. Сговорились с девушками из соседних комнат, полкоридора пошло навстречу. Туго свернув постели, развели коричневую гадость в ведрах, отчего вода побелела... Все комнаты заперли наглухо и пошли во двор сидеть, под сирень, есть перловку прямо из кастрюльки. Сели на ящиках человек десять, жевали, у кого что было, а чайники и котелки кипятили тут же на костре. Все так смеялись! Честно говоря, на костер-то им никто разрешения не давал. Но «цыгане шумною толпой по Бессарабии кочуют»! Потому и кочевали они в тот раз по чужим комнатам.

Здания были наполовину разрушены, не хватало учебных корпусов, и жилых тоже. Нередко студенты варили кашу прямо на улице, около корпуса, на костре. Складывали несколько кирпичей углом, чтобы чугунок пристроить. Парни с мехфака чинили керосинки, которые находили на развалинах. Находили примусы, только их не чинили, они сами были гораздо взрывать. По рукам студентов ходил затрепанный журнал «Огонек». На обложке развалины главного корпуса и надпись: «Из груды развалин, из пепла пожара мы восстановим тебя, милый Воронеж». Администрация была вынуждена младшие курсы отправить временно в район, вот как раз агрофак и плодофак туда и поехали, в корпус какого-то училища... Там было даже теплее, из учхоза возили овощи, раз в день бесплатно кормили.

А что? Если сжать зубы и не замечать грязи, лишений, то учеба была самым простым делом.

Граня получила кличку «демобилизованная», это пошло еще со вступительных, где она гордо садилась за первый стол. Записывать за преподавателем «демобилизованная» умела. Она сидела всегда за первым столом, с плотно сжатым ртом, с абсолютно прямой спиной, иногда вскидывая голову на доску. Она была тем самым человеком, для кого вели речь все преподаватели. Именно на нее смотрели, к ней обращались. Первая же сессия доказала — Гранины лекции читаются, их разбирают все, и за ними вставали в очередь. А как же она сама? Так память же феноменальная, с первого раза запоминала всю лекцию. Памятью была в Богдана, который помнил размерность подвижного состава наизусть.

Гранина группа уехала, а те, что не уехали, вкалывали на восстановлении после занятий. Досталось и Гране — попозже. Экзамены у «бывшей летчицы» прошли на четыре и пять.

Отмечать первую сессию пошли в город. Институт располагался на окраине, среди полей и дубрав. В город — значило идти по трамвайным путям пешком больше часа, линию только ремонтировали — идти через опытные участки, мимо стадиона, по центральному проспекту и заворачивая к мосту. Восстановленный мост торжественно парил в воздухе, поблескивая нарядными арками. Это был не просто мост с правого берега на левый, это был символ того, что новая мирная жизнь берет свое. Это было воплощение сожженной страны, которая назло всем смертям поднимается и сияет. «Нет, — думала Граня, едва шевеля губами, притопывая ботами, ежась от ветра. — Нет, не все пропало в моей жизни, ведь я и здесь причастна к большому делу...»

— Большое дело, — эхом подхватил ее мысль парень с мехфака. — Теперь все видят — город выжил. А вы... Вы нездешняя?

Граня обернулась. Она часто видела изумление на обращенных к ней лицах. Точно было ее лицо ярким прожектором, и люди сразу слепли. Но что интересного нашел в ней этот?

А парень с мехфака вообще чуть не упал. Перед ним в потрепанном пальтишке, в ботиках и шарфе стояла артистка. Иконописное личико с маленьким ртом, сверкающими, как ночь, черными глазами и высоким, нет, высочайшим лбом! На лбу темнела родинка. Ну, как у тех в Индии. Она явно была нездешняя!

— Нездешняя, да. Донецкая. Зовут Граня. А вас?

— Егор, — не сразу ответил он, по-комсомольски протягивая руку. — Донецк это хорошо, это рядом.

— А вы подумали, откуда я?

— Подумал — из самой Индии.

Граня слабо улыбнулась. Парень был светловолосый, с прямым подбородком, с ямочкой. Лоб насуплен, губы пухлые, штаны рваные. Фуфайка ремнем подпоясана.

— У вас маленький городок или большой?

— У меня большой! Большая деревня, речка большая... а есть у вас речка?

— Да, есть ставок и есть еще водокачка.

— Надо ж! И базарчик? У нас у колодца, в центре базарчик.

— А у нас около станции! И отец у меня машинист. А у вас?

— Нету у меня отца, он умер тридцати двух лет. Осталась мамка с троеми... Я и две сестры еще.

— Ой, не знала.

— Да ладно. Дело прошлое. А давайте — я вам в чемодане картошки принесу, ага? У меня есть такой чемодан фанерный, с ручкой.

И это было дороже всяких букетов.

Они шли долго. Шли и не смотрели друг на друга. Считалось — нельзя пялиться сразу. Но лица горели. Он проводил ее до общежития. Дверь была уже заперта, хотя в окнах кое-где еще мерцал огонь. У кого лампа керосиновая, у кого — просто свеча.

Попрощались по-комсомольски, рукопожатием. Она слабо шевельнула застывшими пальцами в его ручище. Это запомнилось.

ЗЕМНОЕ-НЕБЕСНОЕ

Они прощались по-комсомольски, встречались по-комсомольски. В общежитии Граня долго мыла голову, шелестя по жестяному тазику своими тяжелыми черными волосами. Мыла не хватало, маленький кусочек строгала и заливала водой, чтоб растянуть. Вода была жесткая, в кружку для полоскания кос она капала немного уксуса. От такого полоскания косы делались мягкими, текучими и антрацитово блестящими. Граня гладила через тряпочку свое единственное, проношенное до воздушности коричневое креп-сатиновое платье веерами. Смотрела на свет — как, очень прохудилось? Пришивала белый воротничок — совсем по-военному.

Придирчиво глядела в потемневшее пятнистое общежитское зеркало, пытаясь выщипать бровки и смягчить сухие губы каплей подсолнечного масла. И она думала: «Вот же ж, курица, посмотри. Мажется! А еще мечтала о штурвале самолета». И тут же хмурилась. На нее смотрела худощавая бледная индианка с родинкою в центре лба, впалые щеки и крохотный рот казались неприступными. Суровые черты нельзя было смягчить ничем, восточная девушка и ее изображение решительно отворачивались друг от друга. Но то была острая, жестокая красота, которую не скрыть.

А Егор отпаривал единственные штаны, ваксил ботинки и натягивал мягкий пиджак с плечами, у которого наставленные рукава уже опять были коротки. Да уж, для нищей матери справиться сыну-студенту новый костюм было невозможно. Кудрявый чуб нахально топорщился надо лбом, а рот сам собой складывался в улыбку. Нрава он был простого, без всяких там. Не смог осилить танки, с голоду пропадал в Сталинграде — значит, надо идти в сельхозинститут, да и к родной деревне ближе. А чем ты еще можешь помочь стране? Если Граня только и заклинала себя, чтоб никогда не возвращаться обратно, то Егор подспудно знал — он все делает для того, чтоб вернуться.

Шли оба на трамвай и ехали в центр, чтобы на вокзальной площади или набережной встретиться. Давали такого крюка, хотя жили-то в одном общежитии. Но мыслей перебежать сразу в другой корпус — не было.

После очередной поездки к матери в деревню он, кряхтя, отсыпал в коробку немного картошки, а остальное решил подарить Гране. Понес на трамвай, приехал на вокзал, и там она, ахнув, заторопилась в общежитие. И он понес свой фанерный чемодан. В их комнатке поднялся шум, бросились чистить, жарить. Три девчонки и он! Пир-то затеяли. У соседей нашлось полбаночки квашеной капусты и немного варенья яблочного. Вот и объеденье! Девочки перемигивались. Егор был героем дня. Это на первом курсе еще. На втором она его учила танцевать. А он ее учил на коньках. На танцах он ей отдал все ноги. А что ж там тех ножек! Дома

опускала ступни в жестяной таз с теплой водой, ворчала. С катка пришла с таким ощущением, что ног нет вообще! Щиколотки распухли, колени в синяках были. Тут не то что на каблуках, тут ходить вообще невозможно. Но на коньках она поехала, хоть и со слезами. Сила воли у Грани имелась.

Договорились однажды сходить в город. В сквере у площади, говорят, заливали каток, развешивали бумажные фонарики. А на площади обещала выступить известная певица.

На площади оказалась настоящая давка. Разглядеть ничего не удалось, только сарафан певицы освечивал красным. Голос сильный, эхом разносился по городу. Даже гармонь было плохо слышно, а слова долетали до каждого. Много частушек она пела, а Грания резкого веселья всегда чуждалась, даже порадовалась молча, когда пошло протяжное. «Что это?» — «Страдания рамонские». — «Чьи-чьи?» — «Рамонские, деревня такая». — «А-а».

«Топится, топится в огороде баня...» Неужели такие грубые плоские слова могут передать человеческие чувства? Но люди были так счастливы, слушая ее. Они в самом деле ее любили. Главное, Егор. Глаза его смеялись, рот смеялся, сам он, чуть расставив ноги и охватив себя за локти, лучился возбуждением.

Грание стало неловко, она потянула его с площади.

— Что, не по нраву?

— Я не привыкла к таким песням.

— А к каким привыкла?

Она и напела ему итальянскую «Что ж ты опустила глаза». Он вытирает глаза.

— Че-е-го?..

Время осталось на кино!

А перед фильмом показали хронику, «День воздушного флота». Уже когда пошли титры, Грания заволновалась нешуточно. Она видела только фон, ряды блестящих самолетиков, а самих букв даже прочитать не смогла. Толпы нарядных людей садились в поезда, на автобусы, плыли на пароходиках, шли группками, двигались бурным потоком, да сколько ж их было, — и все ехали на авиа-парад в Тушино. Ехали смотреть на то, что Грания душила в себе и пыталась забыть. Да, это был праздник всего народа, а не только раненого и никуда не годного Лешка Ковальского. Толпы по берегу Москвы-реки, вблизи самого аэродрома. Вот как они готовятся: командиры отдают приказы, парашютисты строятся и шагом марш колонной к массовому десанту. А вон женщины-летчицы в белой мешковатой форме. Бодрягина, Блинова, Цветкова, Титова. И почему-то ярко-солнечное все, ветер бесцеремонно треплет флаги у сцены и людей за волосы, а люди смеются.

Летчики — спортсмены. Звучит дико, но Грания привыкла к словосочетанию «военные самолеты» и оттенка «спорт» не воспринимала.

Да, пока над корейским полуостровом идут бои между реактивными «МИГами» и «Сейбрами», в это время Иосиф Сталин внимательно наблюдает за встречным пилотажем пары стреловидных истребителей на Тушинском аэродроме. С зеленого поля взлетают первые советские серийные вертолеты. Колонну тяжелых бомбардировщиков возглавляет четырехмоторный Ту-85 — «лебединая песня» боевой поршневого авиации.

И легкие планеры, и тяжелые бомбардировщики, дальше — скоростные, реактивные с белыми звездами на темно-красном фоне. Да, она уга-

дывала некоторые модели. Легчайшие острые крылья серебристых птиц циркали ей по самому сердцу, она была отверженной, и больше ей не взлететь вместе с ними! Надрывный рокот взмывающей машины казался ей грозной музыкой, чем выше взлет, тем басовитее звук.

Вот подъезжают в Тушино дорогие авто, в них руководители партии и правительства. Да и они здесь, ведь это праздник летчиков, небесных воинов высшей расы. И она, черноглазая Граня, могла бы лететь с ними вместе...

Идут, идут в небе самолеты-знаменосцы, выются в небе треугольные флаги со сталинским профилем, складываются в облаках гордые слова из самолетов — «Слава Сталину», а вон и сам он на трибуне. Самолеты то летят втроем, как склеенные, то рассыпаются и начинают делать фигуры. Пятерка самолетов Чечневой. Они выписывают в небе узоры под вальс «На сопках Маньчжурии», и даже петлю Нестерова. Что летчик видит из кабины самолета? Невообразимую мешанину красок земли и туч. А ошибись он хоть немного — все, рисунок воздушного хоровода будет испорчен. Зрители на земле поражены, как все точно. А ведь летают для них не только профессионалы, но и обычные труженики, научившиеся управлять самолетом без отрыва от основной работы! Девочки-планеристки кружат над аэродромом под вальс «Осенний сон», как же это красиво!

Граня, конечно, понимала, что это внешняя, парадная сторона, но это сейчас, а в боевых условиях — шанс победить, даже просто выжить.

Реактивные военные самолеты, красный и темно-синий, показывают свой пилотаж, на время пропадая в вышине, потом встречаясь почти у земли. Да, наверное, самое сложное — это пилотаж в облаках, где видимость под вопросом. Группу реактивных возглавляет подполковник Бабаев. Что за подполковник еще! Курносый пацан вроде Лешака! Как он четко управляет полетом: через петлю... переворот начался... Да-а, наши летчики просто мастера группового полета. Они вшиваются ввысь и пропадают с глаз, остаются лишь слабо мигающие искры да едва слышное рокотание. Сильная облачность. Но настоящие летчики летают при любой погоде. Двойка, тройка, пятерка, уже девять самолетов, занимается дух. Далеко под самолетом несутся квадраты и треугольники расчерченной земли. Как знать, смогла бы она, тонкая девушка, твердо держать штурвал, когда тебя вот так крутит? И выдохом, самой себе — смогла бы.

После пилотажа показ новых моделей Микояна, Лавочкина, Яковлева, многомоторных Туполева. Такой странной можно гордиться! Она даже забыла, что видит все не наяву, а из кинозала старенького кинотеатра с оббитыми стенами, с деревянными скрипучими креслами.

Ударил в глаза дрожащий свет, повалили в двери опоздавшие. Журнал закончился, и впереди был еще фильм, ради которого они оказались здесь. А Граня уже вскочила, чтобы уйти.

— Сиди, еще не все, — удержал Егор. — Теперь пойдет кино настоящее.

Она молчала, не в силах объяснить, что самое главное и самое потрясающее уже кончилось. Ее неслучившаяся мечта внезапно напомнила о себе, ее жизнь, небо, которое промелькнуло теперь перед ней и навсегда ушло в прошлое. Какой смысл что-то еще смотреть? Нет смысла жить, а он...

— Что ты? — заморгал ее спутник: часто моргать в замешательстве — такая привычка была.

— Не могу, — давилась словами она, — я всю жизнь... Мечтала. Я же могла с ними летать...

— Понял, — вздохнул и взял ее за руку. — Сиди. Тебя отпусти — ты убежишь и будешь хныкать весь вечер.

Она молчала, низко опустив голову. Это она-то хныкать? Да она под пытками...

— Держись, — сказал он. — Это ж не смерть. Надо потерпеть. Надо отвлечься. Сам знаю, больно — хотел быть танкистом и... сорвалось. Я — такой же...

Пухлые губы его запеклись от ветра, чуб ярко топорщился, щеки впали, ямка то продавливалась на упрямом подбородке, то исчезала. Мимо них проталкивались опоздавшие зрители. Приходилось вставать и пропускать. Не до тонкостей.

— Бери себя в руки, понимаешь?

Но он же видел, что она ничего не понимает. И боялся он всегда этих тонких девиц: чуть что, сразу пальцы ломают, лицо в пятнах и, вообще, черт знает что они могут выкинуть! Он и в деревне дичился девок, и в городе узнал таких, что можно схватить и тащить в кусты, даже не пикнут. А здесь — нате. Егор хотел ей сказать, что как раз здесь-то и будет кино, где есть настоящая жизнь! Соберись! А то стыдно перед людьми.

Граня взяла себя в руки. Она сидела в платке, в своей потрепанной плюшевой жакетке, такая бледная, гордая, честная, и покорно соглашалась терпеть чужое. Черные глаза затуманились, круглые высокие брови застыли скорбными арками. Она сжала свой маленький в две ягоды рот, и рот стал едва заметной черточкой.

Кино оказалось про Мичурина. Картину снял Довженко, а музыку сочинил Шостакович. Это были громкие имена, но для Грани и Егора они ничего не значили. Эти дети приехали из глухой провинции, для них, полуголодных, неотогретых, без валенок и шапок, даже поход в кино был событием. До того шли они по узким траншеям жизни, а тут вдруг выплыли на простор ее.

Удивительно, что с самого начала на экране поплыли картины русской природы, волнистые поля, берега широких рек, шумящие деревья. Это была земля — то, чему они посвятят свою жизнь. И несколько она не хуже неба, наоборот, казалось, что она добрее, ближе и только их она ждет.

Обоим было ясно, что Мичурина не понимают, губят, топчут в грязь его работу. Для обоих стал ударом отказ ученого ехать в Америку. Почему нет? Его оценили, дали возможность работать, как он хочет, а главное — его избавили от унижения: не надо больше побираться, просить то одного, то другого...

И все же оба неистово радовались, что он отказался от богатства ради нищеты на Родине. Такое воспитание. Только жена на заднем плане, ее слабый протестующий возглас больно ужалил Гранино сердце.

Когда Мичурин выводил из желтых лилий лиловые с четырьмя новыми признаками, это, конечно, было эффектно, это поражало. Ну как всякий трюк, показанный фокусником. Но сильнее всего была в сердце история с саженцами, перенесенными на плохую землю. Станный, рискованный эксперимент. Это казалось совсем бессмысленным гублением биоматериала, но риск-то оправдался!

А Маша! Жена великого садовника, его тень. Егорка покосился на Граню, как бы спрашивая, сможет ли она быть такою же? Но вот, когда пошли кадры болезни Маши, она умирала рядом с ним, читающим ей

очередную статью, захолонуло сердце. Значит, что, наука важнее живого человека? Тут уж Граня с искаженным лицом обернулась к Егору: это так будет? Ото ж он даже голову тут опустил. А на фоне революции и расцветающих садов будущего каждому привиделась своя картинка.

Егору — как он воду на старой кобыле везет. Жара страшная, хочется есть, а до поля еще, ой, как далеко. Вся деревня на сенокосе, пацану нужно торопиться, а так бы рухнул в свежий стог спать, но нельзя. И когда он привозит полную бочку, со всего поля, устланного скошенной травой, тянутся обессиленные работники — бабы в основном, подростки. И кто-то сует ему плоску с медом и соленый огурец. И какое же счастье для голодного парнишки, сладко-соленое...

А Граня видела кувалду и шпалы, мучительные взмахи той кувалды, вырывающей руки. Она бы лучше уж в саду работала. Но горше нету такой работы неблагодарной. Ну и не надо. Отдать жизнь? Ну что ж. Хоть жизнь отдашь не напрасно.

Иван Мичурин, узколицый человек, одержимый идеей новых сортов, конечно, много работал. В финальных кадрах он стоит, весь в солнечном свете, весь в окружении восторженных и понимающих последователей! А Машу-то не вернешь. О ней вообще все забыли.

— Ну, чего? — обронил Егор. — Убедилась?

— В чем убедилась? — отрешенно переспросила Граня.

— Что дело жизни хорошее выбрала.

— Везде ж труд нужен, Егор. Адский труд.

— Да что, все самолеты глаза-то застыят? Сколь работы на земле, не перепашешь.

— Работы много. Но как же? Менделистов-морганистов запретили, а идеи-то с Мичуриным сходны. Не знаю. Мне это дорого. Да, мне дорога его одержимость, я сама такая, но одержимость одного человека всегда ранит кого-то другого...

— Да ты все умничаешь. Все же просто. Лично я верю, что мои трактора нашей земле помогут. А ты будешь за полями смотреть. Представь, у тебя будут гектары таких полей, как вот сейчас показали. И ты по ним будешь ходить, как царица.

Они шли после старого кинозала огорошенные, боясь посмотреть друг на друга. Кажется, за это время успели подглядеть друг в друге что-то тайное, острое, что нужно было скрывать. А нет, раскрылись, и пути назад не было.

Егор был мрачный, временами даже жалел, что связался с «фифой», она такая непонятная. Но ему лстила ее неожиданная, восточная красота, он гордо выпячивал грудь, если знакомые студенты видели их рядом. Только досадно было, что все никак не сойдутся взглядами, любят все разное. На такую певицу морщилась! Нету в ней дыхания, народного духа не чувствует. Э, да какая к черту разница, что она любит? Лишь бы его полюбила...

Граня пропасть между ними чуяла глубже. Ей было не страшно с ним, но все эти тупые частушки, «матани», семечки в карманах... он и на великом Мичурине семечки щелкал. А гектары полей... это тоже надо. Она вспомнила родительские огороды и вздохнула. Просто знать, что ты остаешься без мечты — это сиротство.

— Чего замолчала, сирота казанская? Гранечка.

И рывком поцеловал.

ДОЖДЬ КОНЧИЛСЯ

На третьем курсе Егор сказал Гране:

— Ты, конечно, красавица. Но почему у тебя столько троек в последнюю сессию?

— И что? — вспыхнула Граня. — Стипендия есть!

— Дело не в стипендии. Ты меня позоришь. Я секретарь комсомольской организации института. Успеваемость — как надо. А его девушка почти двоечница. Это меня позорит...

— Да кто тебе сказал, что двоечница? Или я тебе обязана отработать картошку?..

Граня с ним год не разговаривала. Сказать, что она где-то кого-то позорит — это был расстрел. Совесть ее тоже пострадала, ведь она понимала, что учиться хорошо — быть лучшей — ее привычка. Как вдруг какая-то деревня такое говорит. Тем более, какой нормальный студент пойдет пересдавать предмет, если получил хотя бы тройку? Только дурак какой-нибудь.

Нет, она вовсе не чувствовала, что позорит кого-то. Если у этого кого-то есть требования, пусть требует от себя, от других. Она считала, наоборот, нужно простить ей какие-то недочеты. Что она сама выше этих мелочей. Пусть и другие...

У Грани была книжка, к которой она возвращалась не один раз, «Жизнь Клима Самгина». Не могла даже сказать, что любит, как, например, про «Овода», когда книгу любишь, как человека. Тут другое. Она ощущала ее как тысячеголосый хор кричащих голосов в самое определяющее для нашей страны время. В таком же времени, на таком гребне событий привелось жить и Климу. Он метался, как кораблик, в этом разбушевавшемся океане. Его бросает из стороны в сторону, ветры гонят, дожди хлещут, а он все ищет свое, только его личное понимание и убеждение, свой голос и путь. В чем-то Граня тоже искала себя и свой путь. Не только в смысле работы. Везде и всегда полагалось жить и бороться бригадно.

А Граня чувствовала — не так все просто. Ее собственное убеждение, наверно, от отца, перекликалось с Горьким: «Большинство никогда не бывает право». Существование Клима — жизнь человека, постоянно находящегося в процессе напряженных, мучительных исканий, но не способного что-либо найти, до конца самоопределиться. Гране нравилась его способность все подвергать сомнению. Однако и была в нем некая червоточина, хотя бы в отношении к женщинам, но все же обособленность его притягивала. А неумение решать — отталкивало. Потому что самый сильный человек на свете — это тот, кто наиболее одинок. А она чувствовала себя одинокой. Она Егору никто, а уже должна идти на жертвы. Пусть лучше он идет на жертвы...

Граня сидела на кровати, как в Бастилии. Девочки перед ее глазами мелькали туда-сюда, примеряли юбки, менялись кофточками, рисовали тушью стрелки на ногах, чтоб было похоже на тонкие чулки со швом.

«Период, в течение которого культуры и пар в установленной последовательности проходят через каждое поле, называется его ротацией; перечень культур и паров в порядке их чередования — схемой севооборота. Рациональное сочетание в хозяйстве нескольких видов севооборота составляет систему севооборота...»

— Грань! Ну, что ты сидишь? Очнись уже! Одевайся!

— Она еще не знает, что медиков на вечер пригласили! А там есть один... Интересуется.

— А духовой оркестр!

— А правда, что сама Мордасова приедет, а?

— Да нет, она не любит народные песни.

— Или ты будешь нам борщ варить, пока мы на танцульки ходим?

— Нет, девчата, она будет хранить верность Егорке с мехфака.

— Ха! Он давно ее бросил.

Граня тут подняла влажные страдальческие свои глаза и неожиданно жестко сказала:

— А ну, замолчи!

И продолжила совсем другим, мирным голосом:

— Развитию учения о севообороте способствовали исследования Тэера, Либиха, немецкого агрохимика Гельригеля, Докучаева, Костычева, Тимирязева, Прянишникова, Вильямса и других ученых. Мировую известность получили работы старейших научно-исследовательских учреждений Западной Европы и США: Ротемстедской опытной станции (Великобритания), Института земледелия и растениеводства в Галльском университете (ГДР), опытных станций в Аскове (Дания), штатах Монтана, Миннесота, Иллинойс, Айова, Огайо (США) и научно-исследовательских учреждений СССР. Обобщение фактов, накопленных мировой наукой, позволило создать современную теорию чередования культур...

Девчата замерли, потом с топотом стали выбегать, шараяхая тяжелой высокой дверью.

Севооборот зазвучал почти зло: «Химические основы севооборота связаны с особенностями питания растений: неодинаковая потребность в питательных веществах, различная способность корневых систем извлекать их из глубоких слоев почвы и труднодоступных соединений, способность бобовых культур фиксировать атмосферный азот и обогащать им почву. Внесением удобрений можно регулировать... Бобовые культуры резко снижают расход удобрений, поэтому...»

На летнюю практику четвертого курса Егор и Граня попали в разные колхозы. Ни один не унился до того, чтобы пойти друг другу навстречу.

Однако уже в мае Граня получила от Егора письмо. Из него стало ясно, что он не на практике, а в городе:

«Здравствуй, Граня. Разреши передать тебе свой пламенный привет вместе с цветком черемухи. Обычно я не такой сентиментальный, но тут хотелось вложить в конверт не только слова. А также пожелать отличного здоровья и счастья. Ты ведь одна там, где тебе предстоит прожить длинное весенне-летнее время.

Граня, дорогая, пишу письмо сегодня, когда уже чуть-чуть отдохнул после праздника, после двух бессонных ночей, после великого шума, столов с вином, веселия, песен и плясовых. Знаю, тебе письмо покажется неожиданным, но это так и есть, оно отражает настоящее отношение. О происходящих событиях узнал только накануне, но это я пишу так длинно, а произошло все очень быстро. Как я помню, тебе было известно — один мой знакомый с мехфака Сашка встречался с одной из девушек земфака (землеустроительного факультета), она жила с тобой в общежитии. Маленькая ростом и очень шустрая. Вдруг Сашка решил жениться. Этому способствовало и то, что приехал

ненадолго его отец из-за границы. Ну, они поговорили и назначили день свадьбы на 29 апреля. Теперь представь себе: его брат, который работает там же, где и моя сестра, решил не отстать от своего младшего брата и говорит отцу: я тоже должен жениться, и невеста есть, и больше меня ничто удержать не может. И невеста оказалось моя сестра Аня! Разговор был очень короткий, она согласилась и уехала домой за мамой. Я тоже решил Первого мая после демонстрации ехать домой. Захожу к своим узнать, как дела, и там такая картина: младшая сестра Таня плачет, говорит, что Аня уехала домой, что завтра на шесть вечера свадьба. Можешь представить, какая неожиданность. Итак, пришлось побывать на этой необычной свадьбе, когда женятся сразу два брата. Ну, а что было там на свадьбе, — описать затруднительно. Только скажу одно: назначили на первое, в шесть вечера, а окончили третьего мая в час ночи. Гостей было около шестидесяти человек. Конечно, больше всего студентов нашего СХИ.

Жаль, что не было тебя на этом празднике. Ну и невозможно ничего сделать было. Такая спешка наблюдалась впервые, да и подобные решения принимать за два дня — это уж не так просто. Особенно в свете последнего нашего разговора.

О чем мы говорили, когда ты уезжала? Разговор так и остался разговором. Верное дело провалилось, только не хочу, чтобы такое случилось еще раз. Не верю в то, что ты вычеркнула меня из своей жизни.

Дорогая Граня, как твоё здоровье, как самочувствие, настроение? Я перед праздником тебя видел во сне, боюсь, что ты болеешь. Снам я не верю, но почему-то они сбывались несколько раз по отношению к тебе.

Какая причина — понять не могу, но мне кажется, это можно объяснить только недостатком душевной близости, честности, настоящей дружбы и всего, что было раньше.

Теперь уже будет здорово, когда будешь читать это письмо. Дорогая, пиши о себе больше и подробнее, как колхоз, как все, какая жизнь вообще? Я имею в виду и материальную, и духовную стороны, как устроилась, как с питанием? О себе: здоровье мое и самочувствие отличное, правда, еще болит голова после гулянки, но сейчас, после обеда, я иду спать, так что это временное явление. Распределения точек еще не было, работа в основном написана, осталось несколько мелочей и чертежи.

Получила ли ты телеграмму? Послал телеграмму в Авдеевку твоим папе и маме, поздравил их с праздником.

Знаешь, СХИ стал неузнаваем после трех дней теплой погоды, кругом зелено, свежо, прекрасно. Но, несмотря на такую погоду, я категорическим путем сижу и занимаюсь.

3 мая. 13 час. 25 мин., остаюсь твой, Егорка Перелыгин».

Граня сложила письмо. Лил дождь. Хозяйка Вера Иванна шла с работы, неся что-то в ведре.

— Граня, ты уже дома? Бросай мыть свои сапоги, гляди, чего у меня есть! Селедку бочковую в сельмаг привезли. Раз в десять лет. Скорее картошку надо варить. Жалко, девчонок-то нет!

— Да что вы, потратились как! И у нас денег пшик.

— Не тушуйся, мне потом правление возместит на студентов. Вам же трудодни тоже пишут.

Граня выпрямилась посмотреть, не идут ли с огорода ее девчонки.

Но когда увидела, как от околицы идет высокий человек в брезентовом плаще, ей стало не до селедки. Молча смотрела она, и подбородок ее дрожал, а по нему стекали дождевые капли. Кто это мог быть? Тот, кто мог быть, тот не мог тут оказаться. Но он зашел в чей-то двор, потом подошел ко двору Веры Ивановны. Посмотрел на стоявшую на крыльце Граню и скинул островерхий капюшон.

— Здравствуй, Граня, — сказал он, смахивая капли со лба. — Вот цветы тебе принес.

И протянул цветы — огромные ромашки и глазастые васильки.

И так стоял с протянутой рукой, пока не подошла Граня и не взяла тяжелый цветочный сноп, промокший под дождем. И что-то такое мелькнуло в изменившемся лице ее, что, не спрашиваясь, вошел во двор, взял Граню за руку и встал с нею в дровяник под навес. Потом распахнул свою страшную военную плащ-палатку и укрыл одной стороною Граню. Упрямую, набычившуюся, не поднимающую головы. И тут, когда укрыли ее плащом, она несмело прижалась к его широкой груди. Все движения их были медленные, будто неуверенные, будто каждый ждал, что другой отшатнется.

— Вот, нашел, — сказал Егор, обнимая добычу.

— А как же ты меня нашел?

— Захотел и нашел.

— А плащ откуда?

— Бригадир дал.

— А мы тоже по дождю неполный день.

— Вижу, ты не рада.

— Да нет. Я думала, что все кончилось. И... ничего не ждала.

— А теперь?

— А теперь снова боюсь.

— А знаешь, как можно сделать? Чтоб не бояться?

— Как?

— А просто поехать в одну МТС вместе. Ты агрономом, я инженером.

— А так можно?

— Конечно. Тогда мы что-то вместе сделаем для страны.

— Вместе? Как когда-то Иван и Маша Мичурины?

— Примерно. Но может, не так героически.

С крыльца выглянула Вера Ивановна.

— Ребята, ну-ка быстро в избу. Картошка горячая. Граня, чего под дождем ежитесь?

— Да неудобно.

— Чего неудобно-то? Вон парень издалека... С центральной усадьбы, небось?

— Не совсем. У вас-то село Терновое, а я с Репьевки.

— Да что ты, парень! В такую далищу. Видать, нужда! Ну, давай, давай, обсыхай...

И они послушно пошли, будто ждали этого, отфыркиваясь и отряхиваясь от воды.

Вера Иванна выкатила в миску картошку из чугуна. Картошка паровала в руках. Печка была уже натоплена, и густо пошел жар по избе, хорошо так, прямо дом родной. Подтянулись и девчонки из группы. Они много не свистели, а как-то робко сполоснули руки, примостились к

столу, все трое. Так полегоньку они полведра селъди бочковой и прибрали. Но Егор и Граня сидели рядом, притиснутые в конец лавки, а как будто они были одни-единственные в доме. Граня всегда стеснялась есть при чужих, чавкать боялась. «Байрон не любил смотреть, как женщина ест», — кто-то сказал ей эту фразу, как на гвоздь повесил. А тут она, будто в общежитии своем, при девчонках, даже думать забыла про того Байрона, хотя по пальцам тек рыбий жир. Егор тыльной стороной руки осторожно вытер ей подбородок, как маленькой. С нее спало напряжение, мыслей не было в голове. Соленая селедка, редкая еда, показалась под горячую картошку даже сладкою. Вот какое счастье после дня на холоде, с усталости, просто нагреться и поесть!

После еды стали чаевничать. Вера Иванна раздула большой самовар, достала закаменевшие сушки — постояльцы оставили, городские были, где-то достали целый мешок, вот все, что удалось подберечь. Постояльцы были из самого города, намучились под бомбежками, тут жили, когда у них несколько улиц на правом берегу раскрошило.

Мать их говорила, что бомбили авиазавод: «Днем было спокойно, поэтому-то первый дневной налет застал детей на лугу, играли в футбол. Главной целью немцев был авиационный завод, но над ним мгновенно выросла стена зенитного огня, к тому же завод поднимал со своего аэродрома истребители. Страшновато было, вот немец и бросил бомбы рядом на луг. Убить никого из ребят вроде не убило, но лично мой мальчик заикаться после этого начал».

Вообще, они бежали из Воронежа, когда немцы уже вошли в город. Они к Чернавскому мосту бежали, когда немцы топтали западные улицы, бежали, потеряв чемодан и кота, который где-то зацепился и орал, успели проскочить на левый берег, после чего мост взорвался. А взорвался его, когда на мост уже выскочили немецкие танки. И прямо по людям-то ехали, наматывали на гусеницы тела беженцев. Взрыв уничтожил мост и все, что было на нем. А с левого берега, опустив длинные дула стволов параллельно земле, прямой наводкой, по танкам, бронетранспортерам, по скоплениям немцев на правом берегу ударили зенитки, пулеметы, «катюши». Это уже последняя надежда была, потому что защитников Воронежа не осталось. Только поле и беженцы на нем. Вот мальчонка-то их, Алик, и стал заикаться, будешь тут заикаться.

И все так замолчали, на всех нахлынуло.

— Теть Вер, а почему вы так рассказываете, вроде сами там были?

— Да сроднилась я с ними, девочки. Я ж не по разу от каждого выслушала про их бегство. Их бабушка тут у нас и отошла, от сердца.

Граня взглянула на Егора, лицо у него было красное. И зашептала:

— Мы ведь тоже с тобой ходили на набережную, где Чернавский мост? Да, Егор? Наверно, не случайно.

— Там меня чуть не убили.

— Что значит — чуть не убили? Когда?

— Однажды председатель колхоза собрал всех наших. Я тогда был вместо бригадира, малой совсем. Мать на ферме, отца нету. Надо было помочь военным — это было в начале войны — перевезти на подводах секретный груз. Ящики замаскировали сеном, запрягли всех колхозных лошадей, и я поехал тоже, ведь присматривал за конским колхозным табуном. Обозом из двенадцати груженных подвод шли всю ночь до Воронежа, на подходе к городу на рассвете началась бомбежка. Что делать? Взрослых не было с нами, все пацанва. Мост горел, переправа

горела. Куда деваться с подводами? От страха совсем голову потерял. Отрубил чем-то сбрую коня, на котором ехал, успел потянуть за руку дружка, и поскакали мы. Слезы прям катились, честно, жалко было всех, особо лошадей. Они так ржали, головы вскидывали, становились на дыбы. Порубал сбрую второпях, кому смог, они, может, чудом и ускакали от бомб. Только двое спаслись — я и дружок мой, Вася Гудков. Нас уже не ждали, когда самостоятельно добрались до дома, усталые, грязные. Так я спас две жизни благодаря реакции. Но я не спас остальных, никто же не вернулся. Бежали женщины к нашей избе: говори, где остальные? Почему других не привел? А я и сам не знал. И всегда думаю, мучаюсь — остались они живы или нет? Приду на этот момент и воровато смотрю — нет ли следов? Так что неизвестно, геройство это или преступление...

После этого рассказа Егора все долго молчали. Егор смотрел в стол, не поднимая головы. Тогда Граня, желая как-то отвести от него внимание, положила руку ему на плечо, подбадривая, утешая.

— А я только одного немца в оккупации видела, — тихо сказала она, — и то итальянца. Он думал, что мой батько беглый солдат, як що лысый. А я стала кричать, что он не солдат, а рабочий. «Арбайт» по-немецки... Его отпустили, не расстреляли.

И ее тоже гладили по плечу. А Егор тыльной стороной руки осторожно вытер с ее щеки приставшую картошку. И другие тоже вспоминали, у кого что было.

А потом Егор накинул свою плащ-палатку и сказал, что ему пора, завтра на работу, а до утра еще в Репьевку попадать надо. Где подвезут, где пешком.

Дождь кончился.

ПОДРУГА ИЗ ПРОШЛОГО

Письмо от матери пришло уже зимою, на последнем курсе. Оно было короткое, написано корявыми буквами и очень грустное. К тетрадному листку нитками был пришит другой листок, где дописано — «Дай телеграмму по приезду».

«Драстуй, мий зайчик. Як ты ухала, живэм ничего. Тоскую без тэбэ. За роботу все дають талоны. Выросла ясна фасоля, так я продала хорошо, взяла сала на базари. Кукуруза, подсолнух, лук, все хорошее. Лук заплела в косах, повисыла в летнюю кухню, сестры приходят мало, бабушка-петушок ще жива. Батько Богдан не схотив бачить мою родню. Батько привиз мед. Вин работае, но дуже пье. Хай уже идэ до своеи другой. Дывытсья не могу. Так пье. Ще хуже, чем сын у Гуты. Но вчора забрали батьку на машини. Ходила в милицию, но Богдана немаэ. Кажуть, донос. Кажуть, у тюрми на Ясиноватой. Тэпэр пусто на двори. Здорова, но як жить, не знаю. Хочу тэбэ обнять, да не можно ихать, як така история. Пovýнна я, шо не побачила твого хлопчика. Жду вас до сэбэ. Приголубыть вас обоих».

Грозный Богдан в тюрьме! Этого и представить нельзя. Он же такой честный, такой ярый коммунист. Ну, что можно было наклепать в доносе? Грузы левые возил на паровозе? Хотя написать можно все... Вот как сильно сжало сердце, просто все онемело. Наконец Граня собралась ехать, хоть и далеко не сразу. А страшно! Дочке еще не было года. Егор учился

в аспирантуре, писал диссертацию и вел занятия в институте. Ладно, взять можно только одежду и дочку на руки. Но как пересадка на Кас-торной? Как там пешком через бурьян идти? А как там мать одна? А кто же поддержит, да тоску ее убавит?

Егор на все эти вопросы только головой качал. Он даже отпускать жену никуда не хотел, уверенный, что это опасно для обоих. Заболеют еще. Старый чемодан забраковал сразу, нашел у кого-то вещмешок, если его набить посылнее, много войдет, да еще и привалиться к нему можно, поспать.

Поехала в мае, не учтя, что на Украине в то время уже и жарит. Мало того, что сама в пальто, так и на дочку трое штанов накрутила, шарфы, шапочку, сверху клетчатый платок. И когда этакая гора замаячила от ворот Машталаповых, выскочила мать и руками всплеснула. Она была не любительница голосить, как голоса все хохлушки по делу и не по делу, но тут подняла крик. Ее дите было в расстегнутом пальто, лицо в поту, на руках сидело кучей дите в шарфе, тоже все в поту, а на спине висел еще мешок пудовый. Обнимались недолго. Смахнув торопливые слезы, засуетились в хате и во дворе. Началось поение чаем с чабрецом и купание. Натаскали живо воды, нагрели на плите, одежду всю прокалили на всякий случай... А что ж малышня? Малышня по имени Саша, некапризная в еде, уже поела пшенной каши с тыквою и тихо спала на улице в большом корыте, устеленном одеялами.

И покачав на это головою, сказала певуче баба Таисья:

— Якэ не дило! Трэба коляску, чи шо... Тай батька немаэ.

И села, замолчала.

— Ну что ты, мам. Ну, разберутся, выпустят. Не в лагерь же угнали. — Та якэ там выпустять! Пиду до Гуты.

Таисья вытащила из сундука слежавшуюся бостоновую юбку, накинула шаль, пригладила головушку с пучком на затылке и пошла, прихватив с собою большую плетеную корзину для белья. Кого же там у Гуты просить? Отца их давно нет в живых, а Лешек... Щеки обдало палящим жаром. Если Лешек пьет беспросветно, так может ли он держать в руках молоток и гаечный ключ? Вспомнив про Лешека, она моментально представила его прежнего, в парке, рядом со Златкой, и того, что увидела потом, раненого... Сердечко защемила острая боль, будто захватило клещами. Лешек, красавец, прыгающая сигаретка в углу нежного рта... А тут, как нарочно, сразу проснулась Саша и молча потянула ручки. Кто-кто, а дочка не даст тосковать.

На следующее утро, когда в саду шумела шелковая молодая листва, Граня ходила по мощеному дворику, помешивая-остужая Сашкину кашу. В калитку, гремя щеколдой, вошел Лешек Ковальский. Но какой же вид он имел, мама родная! Клетчатая рубашка застегнута не на те пуговицы, штаны спустились, как у старикашки, потухшее побитое лицо, левая щека багровая. Но самое главное, он изобразил на бывшем лице улыбку и подкатил Гране шикарную детскую коляску — прежнюю плетеную корзину, но уже на маленьких колесиках.

Граня даже головою покачала и, стараясь не смотреть на Лешека, стала его благодарить. Вдруг остановилась, обнаружив вторую корзинку вместо верха.

— Откуда ж вторая?

— То мамина.

— Спасибо, дорогой Лешек.

— Дорогой? Ты же забыла меня, невеста. С лялькой прикатила. Дадно, я понимаю. Златка вон тоже...

— Что Златка? Она вернулась? — едва не закричала Граня.

— Заходи — узнаешь.

— Зайду. А теперь надо Сашу кормить, побегу в дом.

— Что ж, бывай, Граня. С Сашей познакомишь?

— Потом!

И она пошла кормить дочку, а сердце стучало по грудной клетке так, что качалась рука с ложкою. Вот будь ты неладный! А коляска-то какая красивая... А дочка таращила на нее свои карие глазки и размазывала кашу по щекам.

Дома дел было по горло. Чтобы сеять фасоль и кукурузу, семена надо собрать в мешок, лук приготовить, картошку перебрать. Огород рядом с домом уже вскопала Таисья, гряды распушила с луком. На дальний огород надо было ехать с двухколесной тачкою, на целый день. Но вот после обеда, уложив Сашу, Граня решила дойти до Ковальских. Взяла из дому маленький горшочек топленого масла, очень ценимого местными жителями. В городе, где училась Граня, такого было не достать.

Таисья головой покачала:

— На шо им масло? Воны не диты! Ось настойка.

Граня передернула плечами, но согласилась.

— А Сашка? Вон уже готова гулять в своей барской коляске!

— Баба погуляе.

И в этот самый момент загремела калитка, и вошла чужая, ярко накрашенная женщина. Она быстро шагала навстречу, картинно поправляя белые волосы. Несмотря на обманчивое майское тепло, ветер поддувал резкий, а она в одном платье с горжеткой на плече, в шикарном, вызывающе нарядном клетчатом платье с огромной пышной юбкой и в шляпетаблетке. О, эта коварная бархатная таблетка, как она смущала строгую, пламенную комсомолку Граню.

— День добрый, тетя Тая. А это Гранина дочка? Вот какая птичка черноглазая. А это Граня!

Остолбнение. Граня смотрела во все глаза.

— Златка?

— Наконец-то признала!

Они обнялись, но натужно. Пошли в дом, пытаюсь преодолеть неловкость. Особенно Граня, в вечных сатиновых шароварах и материной кофте. Но и в юбке плиссе с кофтой-московкой в шашечку она смущалась, правда, лишь первые минуты, потом забыла о тряпках. Загремела тарелками, плеснула в чашки вино, не успев спросить у матери рюмки. Да и были ли они? Наверяд ли!

— Ну, за встречу!

— За неожиданную встречу. Ты пришла так внезапно...

— А как же? Ведь кто тебя знает. Я поняла, что ты приехала, когда тетя Тая притащилась с той корзиной. А хорошо сделал!

— Отлично сделал! Не ожидала.

— Да он золотой, мой Лешек. Покоцанный, правда. Но я его люблю. Ты ведь тоже немножко... А?

— Да, он мне нравился, — прошептала, краснея, Граня. — Он меня даже раз целовал... Тогда, после ранения.

Граня сдвинула брови, закусил губу.

— И что, не жалеешь о нем?

— Жалею, есть такое дело. Но судьбу свою я уже встретила. Замужем теперь. А ты? Откуда платье? И в городах таких не увидишь. Это тетя Гута сшила?

— Брось, Гранька. Это стиль такой — «ню лук». Женщина не солдат, а символ роскоши. Да то ж обычна шотландка, только на нижних юбках колоколом стоит. Мать моя из простой тряпки делает тебе модель.

— Ты, Злата, еще лучше стала! И лишения тебя не сломили.

Злата выпрямилась, глаза ее сощурились, по-волчьи сверкнули.

— Это мягко сказано — лишения! Это, детка, гнилой базар для пай-девочек типа тебя.

Граня застыла, ожидая ужасного.

— В тех местах, где сидела, меня суродовали, как бог черепаху. По-няла?

Граня кивнула. Ее морозило от этой беседы. Если б можно было пропустить первую часть. А то ведь узнаешь такое, что и человека не захочешь видеть.

После третьей рюмки Златка заговорила более жестко, не стесняясь. «Быстро ее развезит, — мелькнуло у Граня, — потом не остановишь...»

— А ты уже и забдела, — проницательно усмехнулась гостья. — Да не надо. Про меня могут всякого наплести, чего и не было. Лучше сама скажу. Не воровка, никого не замочила. Просто на двойки училась — помнишь? А ты меня покрывала. Потому ФЗУ, потом на «ящик» отправили. А там — та же тюрьма. Все загибались от туберкулеза, повезли нас куда-то под Донецк на лечение, я и правда кашляла, как старый шахтер. Выпросилась домой слетать до матери. Мне и справку выписали для билета. Поезд обратный проспала. Ну, думаю — упаду на колени, простят. А меня взяли теплую, из маминой постельки — да по законам военного времени под суд и сразу впаяли десять лет, как дезертиру. Думала — сдохну. Думала — кипиш подниму. Мамка кинулась к адвокату. Но никто не стал копаться. Приходил следак, намекал, что вытащит, лыбился по ходу, как параша...

— Тихо ты, Злата, я ничего не понимаю, говори нормально. Ну, что ты раскричалась? Понимаю, что обидно. Но что теперь уж кричать? Поздно.

— Ой, прости, — вдруг пьяно согласилась Злата. — Что я, правда... Форшманули меня по-крупному. Да дело даже не в этом. Следак этот, мать его...

— Давай лучше выпьем, Злата. Ты осталась жива. Я жива. Ну?

— Давай. Мы по ходу всю твою настойку оприходовали... Ну, будем. Выпили подруги детства бывшие, да помолчали.

— Ну, а ты? Стала летчицей? — улыбнулась вдруг Злата. — Ты такая была настырная, все хотела летать, летать!

— Какое! — отмахнулась захмелевшая Граня. — Мы с батькой ездили в то училище летное. Оно эвакуировалось в тмутаракань. И зря поехали. Бортанули нас.

— Почему? — опять закричала страшно Злата.

— Потому что в оккупации была, — пожала плечами Граня.

— Вот бл... П-прости... Из-за этого?

— Да... Так что закончила я сельхозинститут, агрофак. Влюбилась, поругалась, думала — конец. Но судьба мне дала скидку, помирились с женихом. Вышла замуж, как положено, и скоро, наверно, поеду в дерев-

ню работать. Вот лялька моя чуть подрастет... А может, и раньше. Я ведь к матери почему? Правительству дало наказ — спастись село. Вдруг шуганут, мать не увидишь. А тут батьку посадили, никто не знает, за что. Вообще так жалко мать. Он хоть и пил, но все-таки родной. Знаешь...

Злата принялась хохотать.

— Ты еще правительству послужить хочешь?! Вот дурочка! Да оно нас растерло, понимаешь? Живите, как хотите! Ой, не могу. Дядько Богдана жалко, но сейчас после войны пойдут амнистии. Может, отпустят...

— Тише ты, Златка, что так ржешь-то. Услышит кто, донесут...

— Брось. Тут все свои. Не в камере сидишь. Я про следака-то... Он меня на понт взял, ну я и размякла. Приходил гнилые базары вести, а сам шматовал меня прямо на полу. Не закричишь, ничего.

— Злата, бедная...

— Ой, дура была девка. Сказать никому не смела, что залетела. Только ему, сквозь слезы. Меня сразу в медпункт и аборт. Молча. Кровища шла три дня, думала, кранты. Потом... потом...

— Еще не все, что ли?

— Зажила — он опять начал ходить. Как я поняла, это вообще было не следствие, а так, понты. Беса гнал, короче. Но для меня все кончилось плохо. Я опять залетела и настрочила ксиву начальству. Никто меня не слышал. Сидеть в камере не давали, гоняли на работы, как всех. Тяжело, ох, тяжело было. Тут уж меня стали драть все, кому не лень. Ты помнишь, я ведь была ничего... Даже с брюхом. Отсидела два года. Меня выпустили на третий год на сроке восемь месяцев. Остальные заменили на условно. Может, проверка была? Может, один из этих козлов, кто ездил на мне, постарался? Со мной особо не церемонились. К матери добралась — она меня обнимала и рыдала. Рыдала и обнимала. Вот такое вот наказание за преступление в нашей стране.

— А ребенок? Что с ребенком-то?

— Ты про дочку мою? Дочка не в курсе, растет потихоньку. А сейчас в школе, милая моя. Где ей еще быть?

— Такая большая?

— Да ты увидишь ее еще. Нормальная девка, на меня похожа, не на того козла... Может, несчастлива будет, но пока хорошо все.

И Граня, пережившая со Златой весь рассказ, бросилась ее обнимать. В таком виде их и застала Таисья с Сашенькой на руках. Покачала голову, давая понять, что гулянке конец.

— Пора и нам обидать! Да, Сашенька? А ты, Златка того... Зайшла — хорошо, но бачь, не кажен день. А то у Граньки-то нэмаэ такой кыбы, як у тэбэ.

— Да ладно вам, тетя Тая! Граня, наверно, не больно рада такой подружке. А для меня это событие большое. Бывайте!

Странно, с Граней Злата говорила по-русски, а при матери сразу «забалакала».

Злата, махнув подолом, вышла. Мать все расстраивалась, качая головой и всем телом. Хлопоты вокруг Сашки живо привели обеих в чувство. Сашка похныкала, пороняла суп на рубашку, но особо не бузила.

— Молочка! Ось на базари узяла, добрэ...

— Мама, не надо пока, оно такое жирное, ее еще пронесет!

— Так разбавь!

Но Сашку не пронесло с жирного молока, наоборот, она потом еще

просила и еще, присластившись. После гулянки она спала в плетеной корзине, которая легко снималась с колес и переносилась в любое нужное место. Баба Таисья укрывала ее своей пуховой шалью. Малышка, нагулявшись и сыто поев, сопела в две дырочки. А женщины, сидя на крыльце, смотрели на нее, не отрывая глаз. Казалось, все пережить можно, только бы смотреть и смотреть, как она дышит. Потом Граня опять вернулась мыслью к Злате.

— Мам, ты знала, что у Златки ребенок-то с тюрьмы? Что беременная вернулась? В каком классе ребенок?

— Да, я знаю. Оно и позорно, ничего не зробишь. Мабудь, у первом... Хороша дивчина, косы, банты.

Злости или презрения у Граня не было. Она сама не ожидала от себя такого. Она принципиальная была. А тут жгучая жалость, и ничего больше. Для нее Златка никогда не была плохой, отверженной. Всегда она думала о ней с нежностью, как о родне. Ни в делах домашних, ни с Сашенькой на руках, ни за посудой, ни у мешка с зерном не уходили мысли о Ковальских. О том, какие красивые они, какие теперь покалеченные. Как же несправедливо все это!

— А Лешек работает или как, мам?

— Та як вин робѣ! Батько его отвив на паровоз, так вин напывся сразу. Робѣ через раз, от як.

— Ну, его зато не убили на войне.

— Мм! Зато! — передразнила мать. — То вже не чоловік...

— Человек, — вздохнула Граня.

Они выходят из калитки чужой, шаря руками, но не находя щеколды на привычном месте. Да и откуда ей быть, если это калитка чужая? Низко тут щеколда. У них дома щеколда высоко, ее так сделали родители, чтобы они маленькие не выбегали лишний раз со двора. А теперь их бедная мать Гута только рада, когда дети уйдут куда-нибудь! И тогда она отложит шитье, спечет оладьи и сядет за уроки с внучкой. Как жизнь все перевернула кверху тормашками-то, господи, вот и соседи сперва шаркались, а потом перестали даже замечать дикую парочку.

А раньше только и слышно, что дети Ковальски пошли туда, да дети Ковальски пошли сюда. Да вот так-то они говорили в магазине, да вот так-то у керосинной лавки, да о родителях никогда плохого не скажут — вот же ж воспитание! А ты, господи, на кого ты похож? «От диты Ковальськи, дывысь, яки ровнѣньки, чистѣньки...» А что такое сделала жизнь с ними, бывшими цветочками? Они идут вместе, поддерживая друг друга, шатаясь и спотыкаясь, никому не желанные, в жеваной старой одеже, фигуристая увядающая женщина, блондинка с мешками под глазами, и стройный светлоголовый мужчина с побитым очень лицом. Откуда ж они тут, на тихой нарядной с кучерявыми деревьями улочке?

Граня вздохнула и понесла ведра домой. Она и то стояла за деревом, пока пройдут они, Лешек и Златка. Неразлучная парочка. Только бы не увидели ее. Только бы на глаза им не попадаться... Кутафья и телегай. А если вспомнить детские года, так там все было наоборот. Граня шла, и в ушах ее звучала итальянская песенка «Что ж ты опустила глаза? Разве я неправду сказал?» И томительность, и нежность окутывала две странные удаляющиеся фигуры.

ТРЕВОЖНЫЙ ГУДОК

Почти два месяца гостила Граня у матери. По очереди сидели они с Сашкой, гуляли с ней в посадках и по бывшему парку, по очереди полли гряды в огороде, а на дальний огород не садили. Как забрали Богдана, с той поры большой огород, бакша по-местному, оказался заброшенным. Не было у Таисьи столько мочи, чтобы одною лопатой его под-нять.

Таисья жила не задумываясь, по привычке, на работу в мастерские ходила, чтоб не отчаяться. Ей самой мало надо было. Купит ряженки у соседей да черного хлеба, ото ж ей и еда. А как явилась дочка, еще с ляль-кою, тут пошел совсем другой разговор. И поворачивалась швыдче, и ут-ром подхватывалась живо, и лицом как-то помолодела, точно умылась холодной водою. Даже старые юбки да кофты на ней по-новому трепыха-лись.

Таисья не привечала Златку, но и не запрещала ее. Даже предлагала справиться платье у тети Гуты, такэ ж баское. Но Граня была суровая, от-казалась, зная, что копейки лишней нет. А тут столкнулись у колонки и Златка до себя давай звать. Граня запротестовалась, боясь, что та будет пич-кать ее рюмкою. Но Злата шепнула — нет, пить не треба, не бойсь. Дома у них никого не было. Сели смотреть какой-то заграничный модный жур-нал, бог знает кто его и привез ей. Там как раз и были от такие платья, как у Златы.

— Ты понимаешь, такое дело, — зашептала Злата, глядя ее по плечу, — бывает, что человек с тюрьмы да войны дольше идет, чем надо. Ты пойди-ка на станцию може за билетом, а сама до депо дойди. Мне кажет-ся, Богдан вернулся, а домой не идет. Но ты вже скоро уедешь и не поба-чишь. Нет! Лешек мне ничего не говорил. Иди. Журнал бери с собою, если спросят, зачем ходила.

Граня в немом удивлении пошла домой, качая ведрами с водою, засу-нув толстый журнал за резинку своих шаровар. Отпросилась она у мате-ри за билетом, еле дождавшись ее выходного. Да неспешно пошла к стан-ции. Смогла только заказать, а через неделю снова узнать. Ох и билося сердечко, ох и чуяло неладное.

Повязалась низко косынкою да села с женщинами около путей. Те понимающие ее обсмотрели, ничего не сказали. Увидели — лица нету на бабе, побелела вся. Да еще такая чудная, то ли узбечка, то ли цыганка, вся чернява, да с родинкою. Ее никто за местную не признал, много на-роду сменилось на станции-то.

За депо в отдалении стоял старый «контуженый» паровоз Эу. Было видно, что побывал когда-то под бомбежкой, железо местами даже помор-щилось. Его бы на ремзавод, да вовремя не получилось. Вот он так стоял да стоял. А тогда паровозов не хватало, так что выдавали машины любой ценой, в депо стали пытаться восстановить этот «контуженый». Спиной стоял Лешек Ковальский, которого Богдан когда-то устроил в депо, и чего-то говорил, размахивая руками. Вокруг стояли еще мужики из депо, непонятно зачем, ведь конец смены... Вроде говорил чего-то о пробитых паропроводах, о заглушках.

— А як дышла? Воны тэж погнуты, — ворчали мужики из бригады.

— А топка у трещинах уся? Треба пидлататы.

— Слышь, отец, — обращался к кому-то Лешек. — А что если мы до-

ходягу этого залатаем сами? Оно ж и тебе зачтется, и мне. Я-то вообще на грани выгона из бригады. Может, уж сейчас уволили, пока я тут распинаюсь. А ты всегда был спец, интересовался, да и на ремзаводе работал.

«О ком это он? — волнуясь, думала Граня. — Кто это еще интересовался и был на ремзаводе? Кто ж, как не он?»

— Кажу: мэнэ у кадрах не взналы, — голос был слишком знакомый, чтобы спутать его с каким-то другим! — Мэнэ турнули, я даже права не маю тут робыть. Ну, ладно, вы не сдавайте. А шо нэ так?

— Да вот, погнуто дышло, его придется выправлять только на заводе в кузнечном.

— А дуже погнуто? Як полсантиметра, то можно вхолонду, тильки осторожно. Мы ж як бьем? Стальными кувалдами. А може, не стальной, а бронзовой? Вот вы — один пойдет смерит, а другой — пороется в инструменталке, наверняка есть бронзовая кувалда. Давайте уж.

— Еще кипяильные трубы не годятся.

— А шо там — накипь? Чи воны протерлыся? Чи вспучилися?

— Да все понемногу, говорят: и то, и другое, и третье.

— Тогда не залатай. Пошукайтэ старогодни, може, подойдуть. Може, в депо валяються? Трэба поважить, свисыть, и ту вагу сравнить с чертежом, в депо е. Их по ваге бачить трэба, яка толщина.

— Дело. Дело, дядя Богдан.

Граня даже вздрогнула. Богдан! Да, конечно, он. Он был и остался авторитетом в бригаде ремонтников и машинистов. Вот уже рассосалась группа окруживших его рабочих, часть вскарабкалась на паровоз, часть в депо, кто стал возиться с управлением, что-то заскрипело, застучало.

Она думала: «Надо признаться, что я тут!» Но не побежала сразу, а вздохнула и тихонько побрела домой. Вдруг у него есть причины для такого поведения? Может, не от семьи хочет скрыться, а от милиции? Вдруг он сбежал. Да мало ли?! В ней боролось желание не навредить отцу и вернуть его немедленно.

Все дальше уходила Граня от прежних мечтаний, все яснее понимала, что, несмотря на ее гордыню, жизнь повернет туда, куда надо. Однако зарницы мечты еще вспыхивали в ней. Самолеты снились ей, будто она все еще была маленькая девочка с корзинкою кос.

Однажды с утра обнаружила Граня, что кончился керосин, и решила это исправить. Накормила Сашку пшенной кашей, одела, усадила в коляску из корзины и, подхватив пустой керосиновый бидон, направилась в сторону рынка, где была керосиновая лавка. Даже волновалась непонятно почему.

Керосинщица, как это ни странно, была на месте. Народу никого.

— Здравствуйте, тетя Наташ! — радостно сказала Граня, протягивая бидон.

— Здравствуй, Граня, — морщась в улыбке, ответила Корягина, принимая посудину, и тут же поймала тревожный взгляд Грани в окошко, где стояла коляска.

— Да неужто твоя лялька?

— Моя. Сашенька.

— Вот это богатство! Счастливая!

Корягина была такая ж приветливая, как и раньше, но что-то не то. Лицо то ли постарело, то ли коричневое от болезни. Вообще вся ее фигура, обычно плотно сбитая и пружинистая, показалась неуклюжей.

— А как вы, тетя Наташ? Все одна?

— Кому ж я нужна? Одна, конечно. Вот есть кусок хлеба и домик, больше ничего мне не надо...

— Тетя Наташ, а я видела хронику про воздушный парад! И там самолеты фигуры в небе делали, петли, и салют в честь правительства был. У меня прямо душа зашлась. Но институт я закончила совсем другой... Ой, хнычет! Возьму на руки!

Граня выбежала из лавки и стала качать коляску. Саша замолчала. Корягина сама вынесла бидон. Они обнялись. Граня вдруг поняла странности ее вида — беременная. Оттого и пятна пигментные на лице.

— Что ж вы обманываете меня, тетя Наташа, милая. У вас же тоже своя лялька будет! И чего тут скромничать! Говорите, кто отец?

Тетя Наташа побагровела. Краска на ее лице была такой густой, аж сизой.

— Какая разница, кто? Главное — он есть. Спасибо, что не осуждаешь возраст мой и вообще...

— Я еще с ума не сошла. Пусть все хорошо будет, а мне пора.

И она пошла домой, сильно раскачивая корзиночную коляску. Непонятно себя вела Корягина. Чего смутилась? Гордиться надо ребенком-то, сколько бы ни было лет.

Граня так ничего и не сказала матери. Она почувяла, что мать подумает на женщину-разлучницу, которая была раньше. А вдруг это и есть Корягина? Да нет, не может быть. И от мысли такой гадко сосало под ложечкой. Но ведь отец не знает, что дочь здесь. И что не одна. Или нет, знает? Лешек скорее всего сказал ему и про коляску из корзины тоже.

Она еще раз сходила через какое-то время посмотреть на него издали. Но в этот раз людей что-то не было заметно. Купила билет на обратный поезд. Стоя напротив депо, она вдруг увидела, что старый-старый паровоз тронулся с места. Что-то зашипело, лягнуло, стукнуло, тяжело повернулись огромные колеса, и он сдвинулся, словно оживая после долгого тяжелого сна. И дал длинный гудок, не в полную мощь, а так, точно человек застался. Длинный, три коротких и снова длинный. Общая тревога на паровозном языке. Чтоб все, кто на пути, осторожность проявили. Общая тревога, вечная тревога в сердце человеческого. Почему же не вышел он, может, не видел? Или не захотел бросить оживший такими трудами паровоз?

Долго так стояла она у вокзального фонаря, изнывая от неизвестности. Задувал знобкий ветер. Переключка паровозов, дымный стукот. Старая женщина, брызгающая из лейки и подметающая перрон. Ширк-ширк, ширк-ширк. Потом они показались из сумерек, Богдан и Лешек, чумазые и копченые, в запятанных спецовках. Они не встали как вкопанные, не удивились. Ну, Лешек-то ясно почему, а Богдан? Он подошел враскачку, тяжело ступая, усталый и слегка небритый.

— Ну шо? Змерзла, дочка?

Боязливо, коряво обнялись. И Лешек туда же, его-то кто просил? Хотя ведь он тоже свидетель горькой судьбы и сам горемыка.

— Ты не в бегах? — чуть слышно проговорила она.

— Та ни. В мэнэ друга симья.

— Ясно, — спокойно кивнула Граня. — Ну, главное жив. А еще у тебя внучка есть.

— Ото ж гарно, шо внучка! Подарунок позже.

— Мы уже уедем скоро.

— Самолеты забула?

— Нет, не забыла я. Но работать надо на земле. Тебя взяли в депо?

— Ото ж. Роблю.

И она, оглядываясь, пошла. Мать там, наверно, вся душою изныла. Нет, нельзя ей ничего говорить. Пусть лучше не знает. Пусть каждый знает столько, сколько может вынести. А она, Граня, поедет обратно к Егору, туда, где ее второй дом. Не одна она теперь на большом белом свете. Она выдержит все. Хотя что там той Грани?

